

Топ-100 немецких книг XX века

ГОСПОЖА

САР

ТО

РИС

НАУКЕ ШМИТТЕР

Annotation

Поздно вечером на безлюдной улице машина насмерть сбивает человека. Водитель скрывается под проливным дождем.

Маргарита Сарторис узнает об этом из газет. Это напоминает ей об истории, которая произошла с ней в прошлом и которая круто изменила ее монотонную провинциальную жизнь.

- [Эльке Шмиттер](#)
 -
 -
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Эльке Шмиттер Госпожа Сарторис

Elke Schmitter

FRAU SARTORIS

Copyright © 2000, 2012 by Elke Schmitter

Original German edition FRAU SARTORIS, published by Berlin
Verlag,
and dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

© Сорокина Д., перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2020

* * *

*Утверждение бессмысленно,
Палец безмолвен.*

Рональд Д. Лэйнг

Узелки

*Сдается мне, я представляю собой нечто вроде
шахматной фигуры, о которой противник говорит:
заперта!*

Серен Кьеркегор

Или – или

Улица была пустынна. Моросил дождь, как часто бывает в наших
краях, и сумерки переходили в темноту – не лучшие условия

видимости. Возможно, именно поэтому я и заметила его уже слишком поздно, а может, просто потому, что задумалась. Меня часто одолевают мысли. Но обычно они ни к чему не приводят.

Я ехала домой. Сделала в городе покупки и встретила с Ренатой, которая приехала в Л. на один вечер. Мы пропустили по бокальчику, всего по одному – максимум по два. Я же знала, что мне еще садиться за руль; к тому же Эрнст почувствует запах алкоголя. Во всяком случае, иногда такое с ним случается, если у него подходящее настроение, по какой-нибудь причине, совсем не связанной со мной. Тогда он выходит мне навстречу из дома – якобы помочь с пакетами или под другим предлогом. Касается при поцелуе моей щеки, глубоко вдыхая при этом воздух. Он не знает, что я давно обо всем догадалась, думает, что проводит разведку тактично, и считает это своей огромной заслугой. Упрекает меня он не сразу. Ждет своего часа, который длится иногда лишь минуту – пока я не успеваю сбежать, подыскав какой-нибудь предлог. Или без предлога, если мы вдвоем.

Так что выпила я немного. Один-два шерри. Любителям вина в кондитерской Хирмера подают только мозельское, оно осталось в меню исключительно потому, что девяносто лет назад, когда открылось заведение, мозельское обожал Хирмер-старший – вполне типично для того времени. Сегодня же это крепкое вино кажется чересчур сладким – хотя слово «сладкое» тут не совсем уместно и слишком физиологично, напиток просто чрезмерно тяжелый и подходит только к желе. А желе у Хирмера тоже больше не предлагают. Мы с Ренатой пьем там шерри. Это то, что нужно, и стоит дешевле кампари и других приличных напитков. Водку нам брать не стоит – в конце концов, мы в Л., и я здесь, видимо, останусь. Тут дамам принято заказывать шерри, если они хотят пощебетать в общественном месте, тесной компанией и без особого повода.

Мы с Ренатой познакомились в приемной у доктора Лемкуля. У этого дедули-доктора была большая усадьба в пригороде, его отца назначили после войны первым временным бургомистром, а сам он стал очень авторитетным неврологом. Я оказалась у него, потому что у меня начали сдавать нервы – вернее, потому что Ирми и Эрнст это заметили. Я ехала за хлебом и стиральным порошком, а возвращалась с сигаретами, хотя Эрнст не курит уже лет десять. Забывала о днях

рождения собственных крестников и выпалывала в саду собственноручно посаженную календулу, потому что принимала ее стебли за сорняки. Со мной дважды случался худший кошмар любой хозяйки: я забывала выключить конфорку под кастрюлей. Сейчас уже появились электроплиты, которые выключаются сами, прежде чем кастрюля успевает перегреться и случается катастрофа. Но у нас старая модель, потому что Ирми легче с такой справляться. У нее-то с головой полный порядок.

Они решили – со мной что-то неладно. И были правы. То, что я плохо спала по ночам и иногда вырубалась на диване в начале вечера, ни для кого открытием не стало. Мне даже удалось убедить Эрнста, будто так было всегда. Он не знал, что я часто просыпалась около половины второго и не спала до утра, упорно наблюдая за стрелками на будильнике. Эти стрелки светятся в темноте; будильник подарила нам Ирми для свадебного путешествия. Тогда подобные вещи еще считались ультрасовременными, и их делали качественнее. Будильник точно всех нас переживет.

В общем, мои расшатанные нервы огорчили их. Оба уверяли, что беспокоятся за меня, и Ирми я даже верила. Иногда они прерывали разговор, если я заходила в гостиную, или Ирми понижала голос, беседуя с Эрнстом в своей комнате. Наконец они пришли к единодушному мнению, что я действую себе же во вред. Даниэлу они подключить не сумели, она была уже достаточно самостоятельной для своего возраста и вообще разговаривала с нами редко – разве только когда хотела выпросить разрешение переночевать у подружки.

Итак, меня записали на сеанс к доктору Лемкулю, и я пошла, не сказав ни слова. В сущности, мне было все равно. Хотя даже приятно, что кто-то обо мне позаботится. В приемной сидела женщина примерно моего возраста, экстравагантно одетая, с дорогим украшением на запястье и специфическим загаром на лице, говорящем о регулярных косметических процедурах и посещении солярия. Раньше я ее не видела, а для городишки вроде Л. это почти удивительно. Таких людей рано или поздно встречаешь в театре, за чашкой кофе у кого-нибудь в гостях или на клубном вечере Эрнста. Она листала газеты, периодически поглядывала на часы и так выразительно вздыхала, что игнорировать ее казалось уже почти неприличным. Мы обменялись взглядами, и она спросила меня очень

приятным низким голосом, всегда ли здесь приходится ждать так долго. Я ответила, что тоже пришла впервые, и у нас завязалась беседа. Она не знала в нашем городе никого, но не производила впечатления одинокого человека и вовсе не казалась больной, даже наоборот: очень энергичной. Когда в приемную наконец вышла помощница и извинилась за доктора – у него экстренный вызов, и сегодня он, к сожалению, больше не сможет принимать пациентов, – новая знакомая быстро собралась, повесила на руку чудесный легкий светлый летний плащ и пригласила меня на чашечку кофе. День был уже потерян, и стоило попытаться извлечь из него хоть какую-то пользу. Так мы и поступили. Когда я вернулась домой после ужина, Ирми и Эрнст уставились на меня с большим удивлением. Возможно, они заподозрили, что доктор Лемкуль начал лечение с порции чистого спирта. Только это был не доктор Лемкуль, а моя подруга Рената. И мы пили не чистый спирт, а превосходное красное вино. Как минимум, полезное для сосудов. Разумеется, последовали и другие сеансы. Доктор Лемкуль мне понравился сразу. Мускулистый мужчина, таких встречаешь на теннисном корте – от него исходила сдержанная сила, производившая на меня впечатление. Я немедленно поведала ему про себя больше, чем когда-либо узнают Ирми и Эрнст; он слушал терпеливо, не выражая никаких эмоций, но при этом я чувствовала: меня понимают. Доктор провел со мной несколько тестов – постучал по колену, пощекотал ступни и так далее – с добросовестной неохотой, словно был убежден, как, кстати, и я сама, что в них нет никакого проку. Он расспросил меня насчет алкоголя – возможно, на этот след его навел Эрнст, – и я с давно привычным самообладанием ему наврала. Гораздо позже я рассказала все Лемкулю начистоту. Сначала его покачивание головой, растерянность и явное сочувствие мне польстили. Конечно, он заметил мое умение казаться больной или здоровой, энергичной или вялой, агрессивной или ласковой в зависимости от ситуации. И, разумеется, чувствовал, что я перед ним ничего разыгрывать не стремилась. Я не хотела потерять его интерес, а для этого нужна была откровенность – до определенной степени.

А еще он прописал мне таблетки. Как он якобы проговорился, только для того, чтобы я не переметнулась к его коллеге-психотерапевту – хотя я прекрасно понимала: на самом деле ему казалось, что пока это единственная возможность мне помочь. Первую

дозу я приняла у него в кабинете и до сих пор помню чувство защищенности, с которым вернулась в тот вечер домой. Я стала внимательнее, чем обычно; вытряхнула пепельницу, зашла в комнату Даниэлы пожелать спокойной ночи и положила ключ от машины ровно в то место, которое изначально назначил для него Эрнст. Это поднимало настроение; я приглядывала за собой и хвалила себя, как хвалят собаку, когда она приносит в зубах миску. Собственная невозмутимость была мне в новинку, а когда Эрнст спросил, как я себя чувствую, я ответила: как машина после техосмотра. Наконец-то посещение доктора оказало желаемый им эффект: я заработала снова. Пусть это и длилось лишь один вечер.

Поскольку рецептом я так и не воспользовалась. Решила взять себя в руки, и отчасти мне это удалось. Я хотела и дальше ходить к доктору Лемкулю, но еще хотела справляться с рутиной без пометки о пройденном техосмотре. Ведь были же времена, когда я справлялась – отводила ребенка в садик и в школу, дважды в день готовила к определенному времени еду, делала покупки, занималась садом, устраивала детские дни рождения, выступала на клубных вечерах, занималась отпусками, бухгалтерией и финансами, посещала парикмахера и собачью школу, готовилась к Пасхе и Рождеству и так далее, – справлялась со всеми хлопотами, словно они не стоили долгих обсуждений. Хотя на самом деле это было вовсе не так.

Даже не знаю, когда я все утратила. Уверенность, силу, упорную сосредоточенность на том, что люди называют рутиной. Я еще помню, как мы с Эрнстом сидели на диване, а Ирми в большом кресле с новой обивкой. Мы ели крекеры и соленые орешки, пили пиво или вино, а поздно вечером, бывало, и водку. Петер Франкенфельд и Дитер Томас Хек, Ганс Розенталь и Ганс Йоахим Куленкампф стоят перед глазами так ясно, словно приходятся мне зятьями. Проглоченные «р» Каррелла, широкая улыбка Куленкампфа. Когда мы смотрели по телевизору балет, Эрнст непременно замечал: «А могут ведь наши девчонки», а Ирми или я с ним соглашались. Мы любовались, как мускулистые бедра отработанно движутся вверх и вниз, вправо и влево, и иногда я косилась на собственные штанины – тогда еще носили габардин темных оттенков, коричневый или синий, слишком зауженные, – и думала о диете. Мы с Ирми испробовали все, в том числе ради Эрнста, который делал вид, будто борется со своим животом. Но неважно, что

мы готовили по вечерам – овощи на пару, постную рыбу или даже филе с зеленым салатом, – эффект отсутствовал полностью. Эрнст объяснял это своим обменом веществ, но в глубине души мы все понимали: дело в вечернем пиве и водке, соленых орешках и чипсах, шоколадках «Мерси» и двойных бутербродах. Ирми тоже не хотела ничего менять. Так уютнее, детки, повторяла она, наливала очередной бокальчик вина, снова подсыпала в миску кукурузные палочки и смотрела на нас с крайне довольным видом. Живот Эрнста ее не смущал – он ведь зрелый мужчина! – а мой объем талии она списывала на беременность. Даниэла была таким тяжелым ребенком, постоянно твердила она. Хотя мы обе знали, что это ложь: Даниэла была воздушным существом, легким, как бабочка, со светлым рыжеватым пушком на голове и почти прозрачными глазами – скорее нежный мотылек, чем дитя.

Она была совершенно не похожа на нас. До сих пор помню, как испугалась, когда увидела ее впервые: она казалась совершенно чужой, и я, немного поколебавшись, все-таки спросила медсестру, не могли ли перепутать детей. Та взглянула на меня с неприязненным недоумением и уже собралась исполнить гимн материнской любви, но в комнату успела зайти старшая медсестра. «Как вы могли такое подумать, госпожа Сарторис, – возмущенно заявила она и бодро сообщила: – Вы единственная родили сегодня утром, а кроме того, детям на ноги вешают бирки, вы же видите, там все написано: время рождения и вес, рост и температура, и лечащий врач – перепутать невозможно. Только полюбуйтесь на свою малышку, я уже давно не видела таких прекрасных...» И так далее. Я была слишком измотана, чтобы возражать, мне уже хотелось спокойно уединиться с удивительным существом, которое лежало рядом с моей кроватью в передвижном кувете. Волосы Эрнста, когда я еще видела их на его голове, были мышино-коричневато-оттенка, мои густые локоны – темно-русыми, как у Ирми, но у нашей дочери, первой и единственной, пушок оказался рыжим, и выглядела она очень нежной, полупрозрачной, хотя мы все были довольно крупного телосложения. Потом пришел священник, говорил что-то одобрителное и дружелюбное про меня и ребенка, потом пришли Ирми и Эрнст с гвоздиками и женскими журналами, а потом пришли обязанности, дневные и ночные, чай из

фенхеля и ребенок на руках, и напрасные попытки его успокоить, и неутомимое участие Ирми.

Несколько лет назад, во время ссоры, Эрнст заявил, что я с ним только ради Ирми. Я не призналась ему – ни тогда, ни потом, – но это предположение таило долю истины. Когда мы обручились, Ирми было немного за пятьдесят, и она просто сразила меня наповал. Вдова, потерявшая на войне мужа, с мягко говоря небольшой пенсией, единственный сын которой лишился на войне голени, – но выглядела она всегда, словно вытянула счастливый билет и теперь дожидается, когда отдадут выигрыш. Когда она впервые меня увидела – хмурым апрельским воскресным вечером, немного душным, как часто бывает в наших краях, – то сразу обняла и повела в кафе с прекрасным залом, словно я была дочерью королевы. «Эрнст говорил, что ты красивая, – сообщила она, отрезая кусок пирога, – но он не предупредил, что ты настолько прекрасна!»

Решающим тот вечер назвать нельзя. Я встретила с ней скорее от скуки – после тоскливых месяцев в санатории мне хотелось оживления и побольше людей вокруг, и поэтому меня все устраивало. То, что общественник Эрнст захотел познакомить меня с матерью, казалось скорее забавным, но развлечений тогда было немного, а провести вечер за песочным кексом и городскими сплетнями было в любом случае приятнее, чем торчать у моих родителей. Мы до темноты играли в карты за бутылкой рейнвейна, и я уже давно столько не смеялась. Ирми откровенно радовалась проигрышам; она складывала возле меня пфенниги, приговаривая: это на свадебные туфли! И ни разу не посмотрела на Эрнста, что мне очень понравилось. Когда мы пошли домой, пешком – тогда мужчины по умолчанию провожали даму до дома, даже если она жила на другом конце города, – я восторженно рассказывала Эрнсту о его матери, а он упорно отмалчивался. Возможно, его, довольно неловкого молодого человека, уже почти десять лет как инвалида, слишком часто превосходила в вопросах веселья и настроения собственная мать. Казалось, он почти жалеет, что мы провели этот воскресный вечер – а ведь играла футбольная команда Л.! – с его матерью, в узком кругу на окраине города, вдали от приятелей и со странным исходом: его мать и я – девушка, которая никак не хотела становиться невестой! – посмеивались над ним с мирным единодушием.

Он себя смешным не считал. Он очень старался хорошо выглядеть, покупал костюмы минорных оттенков и до блеска полировал ботинки. Ногу с протезом Эрнст едва заметно подволакивал, и люди, которые ничего не знали, могли принять это за причуду, небольшой дефект левой ноги. Он был статного сложения, и склонность к полноте угадывалась только по подбородку. У его отца была пикническая конституция, это было видно на фотографии, стоявшей в буфете: униформа, задумчивый, но твердый взгляд чуть вправо от зрителя – стандартное выражение лица, характерное для тех лет. И живот был довольно заметен. Эрнст мог рассказать о нем немного, и Ирми тоже долго отмалчивалась на тему своего брака. И я сразу стала неосознанно винить во всех неприятных мне чертах Эрнста – в том числе в дурацком имени – его отца. Например, Ирми была аккуратной и «за собой следила», как говорили тогда, но педантичность свою Эрнст, должно быть, унаследовал от Хайнца-Гюнтера. Его манера постоянно тянуться в поездках к бумажнику, чтобы проверить билеты, мания класть очки для чтения в правый угол стола, к телепрограмме, покашливание после пожелания «Приятного аппетита!» – эти черты превращали его в старика гораздо раньше срока, и, должно быть, он перенял их от отца. Когда мы собирались идти в клуб, Эрнст мог три или четыре раза посмотреться в зеркало, чтобы проверить пробор! Он заранее откладывал сумму, которую был готов потратить за вечер, а потом убирал деньги в бумажник, отложив лишние купюры в жестянку в буфете. Он никогда не предлагал мне пальто, не сказав: «Позволишь?», намекая на какую-то шутку из его юности, которую он – как и ее смысл – уже позабыл, но эту глупейшую деталь запомнил, чтобы неустанно ее повторять. И наконец, у него была привычка прикасаться к предметам – меню, пепельнице, садовому совку, – словно он сомневался в их пригодности или материале, из которого они были изготовлены. Он не решался взять их в руки и лишь слегка поворачивал, словно пробуя посадку – будто мир был протезом, который мог сломаться, если слишком сильно сжать пальцы. Меня держать он тоже не мог. Нашего первого поцелуя я не помню, но еще не забыла, как его рука впервые проникла под мою блузку, ощупывая меня так же аккуратно, как салфетку за ужином в тот же вечер.

Развлечения в те времена были невинные. Но что еще оставалось делать в Л.! В субботу вечером – кегли, а потом совместный вечер «в веселом кругу». Я была слишком истощена, чтобы задавать вопросы, и просто шла вместе с ним. Все двадцать-тридцать человек садились за длинный стол, реже – за несколько столов, и что-нибудь обсуждали. На обсуждение политики было наложено табу, прошлого – тоже, а будущее состояло из двухкомнатной квартиры в городе, садового участка и отцовской ремесленной мастерской. В компании были и чиновники – например, Фредди, Ганс и Томас, – они лучше прочих следили за внешним видом и отличались хорошими манерами, в которых была какая-то заученность. Эрнст прекрасно вписывался в этот круг. И пользовался большой популярностью. Телевизора дома почти ни у кого не было, а единственный в Л. кинотеатр менял программу всего лишь раз в несколько недель – люди радовались любому обладателю хоть какого-нибудь таланта. А у Эрнста он, в некотором смысле, был.

Мать научила его играть на лютне. Ирми была очень музыкальна – она быстро подстраивалась своим красивым, мягким альтом, когда кто-нибудь пел народную песню или шлягер. Особенно она любила оперетту, их постоянно крутили по радио в пятидесятые и шестидесятые: «Цыганский барон», «Кузен из ниоткуда», «Королева чардаша» и так далее. Она знала самые известные арии, и тексты тоже, и подыгрывала себе на лютне. С Эрнстом они играли дуэтом, и оба пели, это было забавно и незатейливо, на клубных вечерах же Эрнст пел один. Он тоже исполнял шлягеры из оперетты, но специально выбирал песни с дурацким текстом, где можно было вращать глазами и преувеличенно жестикулировать. Изображая влюбленного итальянца, пылкого венгра или кузена из ниоткуда, Эрнст всхлипывал, задыхался, ворковал и щелкал пальцами с бесспорным совершенством, но в итоге все выглядело смехотворно: музыка и текст, Эрнст и даже его зрители. «Ты стала такой серьезной! – часто говорила мне мама, когда я сомневалась, идти ли вечером с Эрнстом. – Сходи, тебе полезно, там такая хорошая компания, хоть развеселишься!»

Но этого пришлось ждать еще долго. Я уже не помнила, когда смеялась в последний раз, но еще знала, когда в последний раз была счастлива: когда вскрыла последнее письмо от Филипа и побежала с ним к себе в комнату.

Он писал часто. Не только потому, что мы не могли видеться каждый день, но и потому, что в письмах можно было рассказать о себе. Он не любил о себе говорить и уклонялся от прямых вопросов. Я чувствовала, что ему это дается нелегко, у него позади тяжелая юность, и он смотрит в будущее весьма неуверенно.

Нас познакомила Ульрике. Она была моложе меня, будущая наследница доктора Херманна, «оптовая и розничная торговля запчастями и инструментом», где работал мой отец. Вообще-то подругами мы не были. Познакомились, потому что в сочельник она всегда сопровождала отца, который лично разносил сотрудникам рождественскую премию с приветом от жены и коробкой конфет. Не знаю, ездил ли он к простым рабочим, тогда я об этом не задумывалась, – но за один день успеть бы точно не получилось. Ульрике всегда составляла отцу компанию, у нее были странные манеры с самого детства, и позднее она по-прежнему наслаждалась своей ролью – маленькой принцессы с Востока, милостиво вручающей дары бедным. Их благодарили и приглашали выпить кофе, и в первые годы она сидела у отца на коленях, пила яблочный сок и непринужденно рассматривала гостиную. Потом она брала себе чашку кофе, уютно устраивалась на диване и пыталась завести беседу, порой не по годам разумно. Она находилась на прямом пути к владению замком, и никто не мог даже предположить, что двадцать лет спустя, после двух неудачных браков и продажи фирмы отца, ее найдут мертвой на кровати в гостиничном номере в Ф.

Мы не дружили, но были знакомы, а поскольку я была на два года старше, она смотрела на меня с некоторым уважением. Она восхищалась нарядами, которые мама шила по моим наброскам – клубничного цвета летнее платье с большим, мягким воротником и перламутровыми пуговками, зимний костюм из букле, с коротким жакетом и длинной узкой юбкой, бутылочно-зеленое пальто с блестящей водоотталкивающей отделкой и глубокими складками сзади. В юности Ульрике была очень симпатичной, но совершенно лишенной грации – она это чувствовала и переживала. Однажды вечером шофер отца подвез ее к нашему дому: у них на занятиях по танцам не хватало девушки, а они разучивали сложные движения. Она знала, что я умею танцевать. Мне было немного неловко и обидно, что меня пригласили на танцы в качестве удачной замены, но любовь к ча-

ча-ча оказалась сильнее. До сих пор помню, как стояла перед шкафом с одеждой и как выбрала его – кремовое платье с широкой юбкой, которая вращалась, если покружиться.

Мы представились друг другу у входа. Перед домом Блюменталь, основным городским местом для всяческих развлечений, был сад, похожий на парк; вечер выдался довольно жаркий, и большинство молодых людей стояли на лужайке под цветами, болтали и смеялись. Мои уроки танцев проходили в общинном зале, дом Блюменталь я даже не рассматривала – слишком дорогой и неподходящий. Залы в стиле ар-деко напоминали размером дворцовые и были знакомы мне по экскурсиям – я даже знала, где туалеты. И это, конечно, придавало уверенности. Имен я не запомнила. Соотношение имен и лиц всегда давалось мне непросто – и ничего не изменилось по сей день. Я всегда выбирала по лицам, и тогда, в парке, в темноте, – тоже. Я заглянула в темно-карие глаза с девичьими ресницами и увидела в его взгляде тепло, которое привлекло меня, и какую-то томную тоску, которая меня обезоружила. Приятель Ульрики оказался блондином с белым платком в кармане пиджака, мундштуком и светлыми полуприкрытыми глазами. Он быстро оглядел меня, похвалил Ульрику за хороший вкус и непринужденным жестом передал меня своему спутнику, чье имя я не расслышала. Нахал возмутил меня, но Ульрика смягчила ситуацию: она висела на его руке, слово опьянев от счастья, и глупо смеялась без особой причины – я не хотела мешать ей негодованием и боялась вмешиваться. Мы с моим спутником переглянулись, он почувствовал мое смущение, а я увидела его беспомощность. Откуда человеку знать, как вести себя с девушкой, с которой только что дурно и нагло обошлись и которую он сам видит впервые в жизни?

Я просто взяла его за руку, и мы побрели по гравийной дорожке. Я, пожалуй, скорее маршировала, но тропинка была достаточно широкой, и гравий так громко хрустел, что разговаривать было просто невозможно. И я постепенно успокоилась. Над нами шумели деревья, и я чувствовала себя красоткой в том платье – высоко стоящий воротник прикасался к затылку, если поднять голову вверх. Широкая юбка-колокольчик придавала походке размах и уверенность. Он держал меня за руку – его ладонь не давила, но была теплой и легкой. Мы не смотрели друг на друга и не смотрели на окружающих – с ним

никто не здоровался, и мы двигались в своем ритме; я не знаю, сколько мы прошли кругов. Когда группы наконец разошлись и все устремились в дом, он ненадолго остановился, отстранился от меня, поклонился и сказал, коротко посмотрев в глаза: «Благодарю вас».

Мы танцевали, как в сказке. Он вел очень уверенно, но не жестко, и я могла полностью на него положиться, хотя и сама любила быть ведущей. Мы двигались, как положено, не глядя друг на друга – я смотрела мимо него, а он осторожно направлял нас мимо других пар. Сначала зазвучал медленный вальс, моя рука легко легла на его плечо, и я почувствовала качественную гладкую ткань. Весь вечер его окружал легкий аромат лимона. Потом заиграл классический фокстрот, а позже началось занятие по румбе.

Румба всегда была моим любимым танцем. Можно двигать бедрами, даже нужно – и не торопливо, как в ча-ча-ча, а медленно и размашисто. Это дарило сладостные ощущения: менять опорную ногу, ненадолго останавливаться и, помедлив, делать шаг вправо, отходить от партнера, упорядоченно, но напряженно. Мне нравились одиночные повороты, свобода движений, геометрия танца, а еще возможность долго смотреть партнеру в глаза, прежде чем снова сойтись. В этом танце я чувствовала себя могучей, неотразимой, полностью и непрерывно зависимой от себя и от него одновременно.

Он быстро учился. Внимательно смотрел на учителя, стоя вплотную ко мне. Когда мы сделали первые шаги, он смотрел на мою талию, мои ноги, позволяя моей протянутой руке управлять им, словно куклой. Когда наконец зазвучала музыка – играл настоящий небольшой оркестр, и ударник водил метелкой по барабану длинными ритмичными движениями, – все с самого начала пошло просто потрясающе. Я забыла о его присутствии, но когда посмотрела на него, то заметила, что он выглядит как счастливый человек.

Мы всегда начинали спорить, обсуждая, кто кого поцеловал первым. Конечно, у меня был определенный опыт – в конце концов, мне уже исполнилось восемнадцать, и застенчивой я не была. Но я все равно не верю, что мне хватило смелости поцеловать мужчину, даже если все вокруг – и темнота, и калитка с розами – располагало к объятиям. Он же уверял, что никогда не осмелился бы сделать этого, если бы я не взяла инициативу в свои руки, и лишь гораздо позже – слишком поздно – меня посетила мысль, что уже тогда он начал

перекладывать ответственность на меня. И все же он был красив. У него было сладкое дыхание. Мы долго стояли, почти не двигаясь. Мы были почти одного роста.

Наши отношения я сразу держала в тайне. Сначала просто потому, что сомневалась, захочет ли он еще со мной общаться. Пожала плечами на вопрос Ульрики о том, как прошел вечер, односложно отвечала матери. Я пыталась о нем не думать, и мне это даже неплохо удавалось. По утрам я выходила в восемь из дома и через пятнадцать минут проходила сквозь большие железные ворота, на которых коваными буквами была написана фамилия Ульрики. Мысли об академии или о театральном училище давно остались в прошлом. Вместо этого я слонялась по отделу продаж, где должна была выполнять распоряжения своего начальника, страдающего одышкой доктора Бруннера. Бруннер болел астмой и потерял на войне руку; он был старательным, правильным и посвящал работе всю жизнь. Когда я приходила, он уже был давно на месте, и лишь изредка я слышала, как он просил жену заехать, чтобы провести совместный вечер: чаще всего он засиживался до ночи. Я сопровождала его на совещаниях и делала стенограммы, в машине он отвечал на мои вопросы – мне позволялось сидеть с ним на заднем сиденье – и, казалось, радовался моему усердию. Сталь не вызывала у меня особого интереса, но работала я с энтузиазмом и испытывала глубокое уважение к предприятию, на котором больше тридцати лет трудился мой отец. Над вопросом, как доктору Херманну, «оптовая и розничная торговля запчастями и инструментом», удалось так разбогатеть в войну, тогда никто не задумывался. Время от времени Бруннер просил меня помыть его левую руку, и я к этому привыкла. Дома я иногда говорила, что я – правая рука шефа, потому что мне нравилось провоцировать негодование отца, но вскоре никто уже не возражал, и наконец меня начал так представлять сам Бруннер. Когда я приходила по утрам на рабочее место, то подолгу ничего от него не слышала, занималась почтой и бумагами, заваривала кофе и просматривала дела, которые могла уладить сама. И только год спустя он иногда начал говорить, пусть и полушутя, о чем-то вроде карьеры – однако, несомненно, мыслил в масштабах предстоящих двадцати-тридцати лет. Обычное дело для того времени.

Так что утренние часы я относительно часто проводила в одиночестве. Это мне нравилось; сильнее всего я ненавидела свои первые недели в машинописном бюро, где была лишь помощницей, проводила весь день в компании семнадцати молодых девушек, чувствовала себя глупее всех и находилась под постоянным наблюдением. Если бы я замечталась там – как часто бывало в первые дни после вечера танцев, – то не удалось бы избежать сочувственных взглядов, сдавленного хихиканья и вопросов. Но здесь мне никто не мешал, и я могла целую минуту пялиться в окно или искать предмет, который уже был у меня в руках. Но вскоре прекратилось и это: я не выбросила его из головы – он просто канул в небытие.

Через десять дней пришло письмо. Без обратного адреса, с подписью «Филип» и характерно короткое. Он предлагал встретиться в субботу вечером, собирался ждать меня на аллее, ведущей за город, и надеялся, что я смогу прийти. Письма у меня больше нет, и дословно я его не помню, но знаю, что очень долго пялилась на немногочисленные предложения, в которых ему удалось избежать обращений на «ты» или «вы». И чувствовала себя по-настоящему счастливой.

Я выбрала светло-коричневое платье, украшенное мелким розовым орнаментом. В широкой юбке были карманы; сумочку я брать не стала. На ноги я надела сандалии, руки и ноги были обнажены: я отправилась к нему практически голой. С тех пор, как пришло письмо, я снова начала мечтать, представляла наши поцелуи; слышала пение каждой птички, шуршание каждого листика, подпевала каждому шлягеру; я жила в согласии с целым миром. Работала хорошо и сосредоточенно, моих сил хватило бы на десятерых – но при этом у меня тряслись колени, а руки зарылись в карманы юбки, чуть их не разорвав. Но он уже пришел.

Он пришел, и приходил с тех пор почти каждый вечер; склонился над книгой и дожидался меня; он всегда появлялся раньше, и мы ни разу не обменялись приветствиями: сначала мы не знали, что говорить, а потом сразу начинали целоваться, прячась за большой книгой, на одинокой аллее. Она вела в Горсдорф, куда проложили новую улицу, и мы почти никогда никого не встречали. Мы доходили до окраины и обратно, а потом еще раз, а иногда спешили дальше, через лес, к домику лесничего, где была маленькая пивная. Уже не помню, о чем

мы говорили, но мы все-таки должны были время от времени разговаривать, ведь потом последовало долгое лето. Конечно, я рассказывала ему о себе, о родителях и доме, о своих убитых мечтах, о своей работе и шефе, о своих подругах и о том, как я познакомилась с Ульрикой. Мы часто говорили об Ульрике, потому что она свела нас и была единственной общей знакомой.

При этом с Ульрикой я больше не общалась. Иногда я задумывалась, где мы встречались раньше и почему больше не виделись. Догадывалась ли она о связи, которую сама же и устроила? Мы встретились снова, лишь когда все уже изменилось – или, во всяком случае, я. Я получила второе письмо сразу после первого свидания, в понедельник утром Филип отправился на почту, и я прочитала послание, когда вернулась домой к полднику. Там было стихотворение, которое я уже позабыла, но тогда я выучила его наизусть и разыскала в хрестоматии, чтобы побольше узнать о поэте – это был австрийский поэт по фамилии Ленау, и я легко запомнила его стихи, но они казались мне пресными, серыми и незначительными по сравнению с тем, что я действительно переживала и чувствовала, когда гуляла под деревьями и держала за руку Филипа. Я не была ценительницей поэзии, потому что считала, что в ней все безнадежно преувеличено, – но теперь мое мнение изменилось на противоположное, я подумала: если это все, на что способны поэты, то их слова слишком мелки и поверхностны по сравнению с действительностью. Когда я рассказала об этом ему – вероятно, тем же вечером, потому что тогда я ничего не могла держать в себе, – он очень удивился и казался разочарованным; думаю, его обидело, что я не оценила его литературный вкус. Но когда я все объяснила, он испытал явное облегчение и больше стихов мне не отправлял.

Мы пребывали в состоянии блаженства. Я никогда не отличалась хорошей памятью, но тогда уже во вторник я не могла вспомнить, о чем мы говорили в понедельник; я даже не могла сказать, шел ли дождь, была ли на нем белая рубашка и сколько раз мы прошли туда-сюда. Я видела блики перед глазами, сверкание под ногами, ощущала аромат деревьев, к которым мы прислонялись, чувствовала на губах вкус травы, которой мы щекотали друг друга, осязала форму ложины, в которой мы сидели, обнявшись, и ткань его рубашки, я могла описать воздух, окружавший нас, – но не знала точно, говорила ли я ему,

сколько мне лет, или чем занимался мой отец у Херманна, или как выглядела моя комната дома, или что я больше всего любила есть. Мы не нуждались в занятиях, и я уже не помню, как именно мы проводили время; я помню счастье, но уже не знаю, как оно выглядело.

Мама мне полностью доверяла. Она видела, что я ухожу по вечерам и возвращаюсь домой счастливая, и этого ей было достаточно. Не знаю, что она говорила отцу, но он ничего не спрашивал, и лгать мне не приходилось.

Его письма изменились. Сначала речь шла только обо мне и о нем, потом последовали признания. Как же он был одинок – я просто не могла такого представить. Он не чувствовал себя любимым и писал об отчине с крайним презрением. У него каменное сердце, он способен только командовать и наказывать. Брат был для Филипа пустым местом. А мать стала для него совсем чужой из-за бессилия, неспособности защитить от отчима. У нее только одна задача – сохранить худой мир.

Я успела безнадежно влюбиться и только потом узнала их фамилию.

От постороннего человека. От Ильзе, моей подруги со времен начальной школы, которая однажды проехала мимо нас на велосипеде в компании других молодых людей. Две недели спустя я встретила ее в булочной, и она сделала замечание, смысл которого я поняла не сразу. Мол, отличный улов, что-то в этом роде. Филип выглядел достаточно благообразно, чтобы соответствовать этим словам, но в ее голосе была какая-то подозрительная интонация. Она взглянула на меня с изумлением. Разве в Л. есть варианты лучше, чем Ринекер? Я смотрела в круглое румяное лицо подруги, ни секунды не сомневалась в правдивости ее слов. Я не стала спрашивать, откуда она его знает, потому что не хотела выдавать собственное замешательство. Домой я вернулась без хлеба.

Мы продолжали видеться по вечерам. Он дал самый простой ответ из возможных: он думал, я знаю. Ему и в голову не приходило, что в первый вечер я могла его не расслышать – во всяком случае, так он сказал, – а потом называть фамилию не было повода. К тому же это совершенно неважно: ведь мы любим друг друга. У меня возник вопрос, что будет дальше.

Но задавала я его только самой себе. Я – дочь мелкого служащего, моя мать даже не читала газет, наш дом был куплен в рассрочку, а по субботам отец ходил в трактир играть в скат, пока мать готовила фасоль. Ринекеры владели большим имением в пригороде, родной отец Филипа был летчиком и погиб во время войны, они проводили вечеринки, о которых писали в журналах. Я умела петь и танцевать, очень неплохо рисовала, я считалась красивой и обладала прекрасным воображением. Но как я буду знакомить своих родителей с семьей Ринекер, я вообразить не могла.

Мы об этом не говорили. Я не хотела ничего испортить и решила положиться на Филипа. Он казался таким уверенным и заботливым, таким преданным и нежным, что я просто представить не могла, что когда-нибудь это изменится. Осенью он возобновит учебу, через два года ее закончит, и мы поженимся. Он с таким отвращением говорил о своей семье, что я всегда боялась только за него и никогда – за нас.

Он подарил мне тонкое золотое кольцо с плетением.

Потом пришло его последнее письмо. Это случилось в день нашего последнего свидания, перед его отъездом в М.

Видимо, я упала в обморок. А когда очнулась, то уже лежала на кровати, и на меня смотрели строгие глаза врача. Когда он спросил, могу ли я разговаривать, вопрос показался мне бессмысленным, и я подумала, что все еще сплю. Поэтому и не удивлялась, что разговаривать не могу; лишь хотела снова проснуться. Утратить дар речи было тягостно, но я настолько устала, что хотела поспать подольше, несмотря на этот странный сон, в котором у меня на кровати сидели родители с обеспокоенными лицами, мама – заплаканная, папа – в немой растерянности. Наконец врач развернулся и вышел вместе с родителями, и я испытала облегчение, что теперь можно спать дальше.

Лишь некоторое время спустя я поняла, что действительно не могу говорить. Я помнила письмо Филипа, помнила, как читала его, и пустоту потом. Видимо, мама нашла и тоже прочла его, потому что она не задавала вопросов, и спрашивать действительно было нечего. Врачи в санатории пытались от меня добиться, что я помню и что написал Филип, но я им не сказала. Они уверяли, что об этом важно поговорить ради выздоровления, но я считала, куда важнее больше никогда об этом не разговаривать. Возможно, я еще стыдилась, что настолько ему

доверяла, потому что вдруг обрела твердую уверенность, что он обманывал меня вообще все время, а сам просто нашел развлечение на лето и, возможно, даже заключил пари с другом, что соблазнит меня. Сейчас я уже думаю по-другому и считаю, что он был просто слабохарактерным и мягким человеком, который не желал ни о чем задумываться – как и я. А когда он рассказал семье, что хочет на мне жениться, то вдруг осознал всю сумасбродность этой идеи. Я уверена, деньги решающей роли не играли. Но тогда я думала иначе. Тогда, в санатории, я делала упражнения и писала родителям короткие письма. По вечерам я читала – там была довольно внушительная библиотека, и я поглощала все подряд – медленно, непритязательно, иногда с неподдельным интересом. Мне нравилось наблюдать, как передо мной течет жизнь, разворачиваются несчастные и счастливые истории любви – во Франции, Америке и Германии, и еще один, который начался в загородном доме в Англии и закончился в Южной Америке. Мне было безразлично, хороша книга или плоха, увлекательна история или нет; в этом чтении было нечто безыскусное, как в работе пастуха. Гораздо позднее я поняла, что, видимо, действительно заболела, ведь иначе девушку вроде меня не стали бы отправлять на средства больничной кассы – еще и в период полной занятости – на несколько месяцев в санаторий, где я ела, разговаривала и читала под присмотром и делала спортивные упражнения на свежем воздухе. Но тогда я об этом не задумывалась. Я вообще мало думала. Я замечала, что небо синее, и замечала, как красиво вокруг, если кто-то обращал на это мое внимание. Я замечала, что мне велики собственные платья. Я замечала, что на ужин дают бутерброды с хорошим сыром. Я знала, что меня любят родители. Я видела в зеркале, что по-прежнему красива – исхудавшая и прозрачная, какая-то слишком блаженная для девушки из провинции, но несомненно красивая. Врачи попросили родителей дать мне с собой что-нибудь, к чему я привязана. И мама выбрала зеркало, мое единственное наследство, доставшееся от умершей бабушки: овальное, с изящной позолоченной рамой, оно всегда висело у меня в комнате, и я в него часто смотрелась. Зеркало было ненамного больше моей головы, и когда я вставала перед ним, чтобы причесать волосы – у меня были густые непослушные локоны, – я видела только ямочки между ключицами. Врачам ее идея очень понравилась; в санатории было упражнение, персонально подобранное

для меня, – десять минут в день смотреться в это зеркало. Я должна была видеть, что я красивая молодая девушка, что моя жизнь только начинается. Но то, что я видела и знала, не вызывало у меня никаких эмоций. Синее небо не радовало, свободная одежда не пугала, и вкуса сыра я не ощущала. И мне было все равно, что меня любят родители. Я думала, что мне их жаль, но только думала, а не чувствовала. И к себе я тоже ничего не чувствовала.

Так продолжалось долгое время. Я вернулась домой и снова вышла на работу. У господина Бруннера уже появилась новая правая рука, а меня перевели в отдел сбыта. По настоянию родителей я начала ходить в кегельный клуб. Однажды я встретила на улице Ульрику, мы обе остановились и не знали, что сказать. Я сшила вместе с мамой новые платья. Субботними вечерами я сидела с Гансом, Фредди и Эрнстом на длинной скамейке, напротив расположились Маргит и Урсула, Эрнст рассказывал свои истории, и когда остальные смеялись, я смеялась тоже. Я пошла с Эрнстом к Ирми, и она стала первым и, возможно, даже единственным человеком, который для меня тогда что-то значил.

Потом я прочла в субботней газете о помолвке Филипа с Лиане Вестерхофф, которую я не знала, но фамилия была мне знакома, потому что в Ф. была банкирская фирма Вестерхофф. Свадьба должна была состояться в имении Ринекер.

А сегодня в газетах написано другое: сообщалось, что по вине водителя смертельно ранен пешеход. Водитель скрылся с места происшествия. Если есть свидетели случившегося, им следует обратиться в полицию.

Но никто не мог ничего увидеть. Шел дождь, и было почти темно – в такую погоду никто не ходит гулять. Тем более по магистральной улице, где нет магазинов и деревьев для выгула собак. Никто не мог ничего увидеть.

О нас тогда знали многие. Я никому ничего не рассказывала, но вокруг поползли слухи. Возможно, моя мама не выдержала и кому-то доверилась – этим «кем-то» могли быть жена пекаря, соседка или даже Ульрика, которая заходила к нам на Рождество и в этом году тоже. А может, язык за зубами не удержала Илзе – да и с чего бы ей сдерживаться, она ведь не знала, что это секрет. Нервный срыв – в

нашем кругу это ни о чем не говорило. Нужно было обоснование, и оно наконец появилось. Когда я вернулась, то заметила всеобщее смущение; никакого объяснения я не придумала. И решила вообще не обсуждать произошедшее, что стало своего рода признанием вины. Но беременна я правда не была, и в конце концов все в это поверили. Маме, видимо, пришлось показывать всем мои письма из санатория. Беременная дочь — это плохо, но все же не конец света, а вот беременная дочь, вернувшаяся без ребенка, — позор навсегда.

Новость разбудила меня. Первой реакцией стала ярость, второй — гнев. Ярость была холодной и беспомощной, а гнев живым и теплым. «Ты не первая!» — твердила я себе, будто это что-то меняло. Я рассчитала, сколько времени осталось до бракосочетания: примерно полгода, может, меньше. Наверняка они поженятся этим летом, ровно через год после нашего расставания, когда еще будут благоухать травы, и вечером можно будет устроить танцы в большом внутреннем дворе имения, когда еще не закончится сезон гриля и шампанского на свежем воздухе. Возможно, у Лиане Вестерхофф невзрачная внешность, и, возможно, она не умеет танцевать, но у нее тоже будут свои мечты, и когда она выйдет из капеллы в белом платье, то захочет получить благословение не только церкви, но и Небес.

Я теряюсь в догадках, почему он шел пешком. Может, ему пришлось бросить машину, потому что мотор сломался? Уверена, он ездил на пижонских машинах, но вряд ли мог позволить себе по-настоящему хорошую — возможно, со спортивным кузовом, с улучшенным мотором и необычными элементами. Такие машины капризны и иногда просто отказываются заводиться. Возможно, он купил подержанную машину: после аварии, случившейся в Ф., перекрашенную, с новым радио и дополнительными фарами, кожаные сиденья включены в стоимость. Вполне солидную для коротких поездок на выходные, но не слишком выносливую, к тому же в нашем влажном климате быстро ржавеют детали или приходит в негодность зажигание. Здесь не самое подходящее место для спортивных машин.

План у меня появился не сразу. Но с той самой секунды, как я прочла сообщение, я уже ничего не могла изменить: словно решение было принято без моего участия, и сомневаться было уже ни к чему,

пришла пора действовать. Когда мы с Эрнстом шли тем вечером к Ирми, я чувствовала себя совершенно опустошенной, но готовой на все, и когда он провожал меня домой, я болтала с ним, как обычно. Только ночью я представила нашу жизнь.

Мои родители вернутся в С., к сестрам матери и моему дедушке, который жил один в своей крошечной квартирке – это было ясно давно. Мой отец, сделав скромную карьеру у доктора Херманна, «оптовая и розничная торговля», по-прежнему не мог назвать это место домом, а мама всегда ждала единственного мгновения: когда они смогут продать домик и вернуться туда, где жила ее семья. Папа достигнет пенсионного возраста через два года – слишком долго, чтобы дожидаться и уезжать вместе с ними, мне не хотелось возвращаться в С. старой девой на шее у родителей, к своим замужним кузинам, которые обсуждали детей и отпуск в Тироле и уже давно смотрели на меня с неодобрением – красotka Маргарета, вечно окруженная поклонниками, которая умела рисовать, петь и танцевать, которая хотела пойти учиться на актрису, а стала лишь одинокой офисной работницей с нервным срывом. Я выйду замуж за Эрнста и буду жить с ним и Ирми; Эрнст хотя бы хорошо выглядел, носил меня на руках, прилично зарабатывал и был милым парнем, он мне точно ни в чем не откажет; а Ирми была просто сокровищем. Я с удовольствием представляла, как буду жить с ней, представляла изумление и благодарность Эрнста, когда он узнает, что не придется оставлять в одиночестве мать, вдову, потерявшую на фронте мужа, что можно взять ее с собой, в новую семью. Я продолжу работать, по вечерам мы сможем часто бывать в обществе – только не на танцах, больше никогда, – а дома нас будет ждать Ирми, оживление и веселье. Возможно, у нас родится ребенок. Но прежде всего нас ждет большая свадьба, уже этим летом, в парадном зале с оркестром и толпой гостей; я буду отправлять подписанные приглашения и дам объявление в газету: «Принимаем поздравления с 13 часов по адресу: дом Блюменталь». Я сама придумаю фасон платья и куплю для него шелк, даже если придется ехать в Ф., чтобы подыскать подходящий. Я буду лучшей.

С того момента я словно пребывала в холодном дурмане. Проснувшись утром, я позволила себе несколько секунд сомнений – но решение было принято, я чувствовала огромную силу и не хотела

сдерживаться. Я радовалась собственному гневу, поглотившему все: усталость последних шести месяцев, равнодушную отчужденность и неприятие мира. Я вспоминала все это с ужасом и страшно боялась снова стать вчерашней Маргаретой. В конечном счете для меня было неважно, Эрнст или кто-то другой; Эрнстом можно управлять, это я поняла сразу, у него были свои причуды, но не конкретные недостатки, а инвалидность делала его особенно благодарным. Филип его не знал, хотя это было не слишком важно, лишь отчасти — он прочитает сообщение в газете, и оно заденет его так же, как его помолвка задела меня, или даже сильнее: я опережу его, пусть не думает, что в день его свадьбы я буду стоять на берегу нашей реки и со слезами на глазах рассматривать кирпичные стены имения Ринекеров — я давно уеду в свадебное путешествие, и может, даже в Париж!

Тем же вечером мы с Эрнстом встретились в кегельном клубе; он провожал меня домой, и мне легко удалось перевести разговор на тему будущего. Он никак не решался завести об этом речь, и пришлось проложить ему торный путь. Он так ошалел от счастья, что мне стало немного стыдно — но потом я напомнила себе с сердитым упрямством, что благодаря мне будет счастлив хотя бы кто-то один, и не может быть ничего дурного в том, чтобы так осчастливить человека. Ирми тоже пришла в восторг; я ей сразу понравилась, о чем не единожды рассказывал мне Эрнст; она была влюблена в меня почти так же, как и он, но с одним отличием, и оно меня покорило: Ирми не просто гордилась мной, а любила по-настоящему. Для Эрнста я была трофеем, словно выигранный кубок по кеглям, самой красивой девушкой в компании, которая никого к себе не подпускала, ни с кем не ворковала и не флиртовала, той самой Маргаретой — все вокруг говорили, что в ней есть что-то особенное. Мое желание выйти за него замуж казалось ему таким нереальным, что он не ждал объяснений — это было подобием чуда, и искать причины или раздумывать над воплотившимися его собственными мечтами было бы богохульством. Он воспринял это как бесконечно щедрый подарок, как выигрыш в лотерею — и, возможно, меня должно было смутить, что в его благодарности не было малодушия, сомнений и недоверия, и он не требовал никаких объяснений. Благодарность Эрнста была искренней и чистой, безграничной, как благодарность ребенка, но меня это не смутило, я отнеслась к его реакции поверхностно, мне было все равно.

Его поведение только усилило мою решимость и облегчило дальнейший ход событий: больше никаких проблем не возникало, и даже мои родители, несмотря на изумление, почувствовали облегчение и радость. Она заранее отдала свое сердце, подумала мама. Хотя я оставила сердце в прошлом.

Я могла принять другое решение. У меня была секунда на размышления, мгновение жизни, когда все могло пойти иначе. Достаточно было просто остановиться, замереть, ничего не делать, и этот момент бы миновал. Он бы пересек улицу; ведь он меня даже не заметил, он спокойно ждал сигнала светофора – и это весьма удивительно, ведь шел дождь, и уже почти стемнело, и большинство людей бы оглянулись по сторонам и начали бы переходить дорогу. Но он совершенно спокойно ждал, возможно, задумавшись, а потом беспечно пошел вперед, ведь с чего ему было тревожиться? Он меня не увидел и не узнал, а если бы и узнал, то самое большее поздоровался бы, хотя я и в этом не уверена.

Итак, все шло гладко. Мы быстро подыскивали маленький домик с садом; Ирми внесла свои небольшие сбережения, и поскольку мы оба зарабатывали, то могли себе позволить долгосрочные инвестиции. Дом находился на другом конце города, поэтому мне приходилось добираться до фирмы Херманна на машине; Эрнст ходил пешком в филиал сберегательной кассы, где работал с тех пор, как закончил учебу. Мы завтракали вдвоем по утрам и вместе ужинали; потом мы с Эрнстом уходили снова, или играли в скат, или смотрели телевизор. К нам часто приходили гости, Ирми любила готовить и умела создать уют – зимой мы подавали айнтопфы^[1] или тушеное мясо, а летом сидели в саду и делали гриль, слушая радио; мы слушали передачи об играх команд Бундеслиги, я готовила вместе с Ирми джем и постепенно обзавелась огородом. Я никогда не была хорошей хозяйкой и не проявляла интереса к домоводству, поэтому Ирми взяла все на себя, она страстно любила убираться, пробовать новые рецепты и гладить. Рядом с ней я согревалась: это было словно сидеть в машине, пока снаружи холодно и стекло медленно запотеваает от дыхания. Только дышала не я сама, а Ирми, сидевшая рядом, и, возможно, еще Эрнст на заднем сиденье. Он расслабился от счастья и стал меньше

дурачиться; возможно, ему больше не требовалось всеобщее одобрение, раз он женился на мне, и мы прекрасно друг с другом ладили. Мои родители приезжали три-четыре раза в году; они никогда не спрашивали, как у меня дела, и я все равно не знала бы, что ответить. Я бы прекрасно смотрелась в рекламном буклете универмага: женщина, которая попробовала новый пылесос или примерила шляпку и с довольным видом смотрится в зеркало. Мне немного не хватало чтения, но на него просто не было времени – до тех пор, пока я не забеременела.

С самого начала мне пришлось лежать; периодически возникали кровотечения, и врач очень серьезно сказал, что я должна себя максимально беречь и как можно меньше двигаться. Первая беременность в двадцать восемь – тут без проблем не обойтись. Так что я оставалась дома, лежала в кровати или на диване, пока вокруг суежилась Ирми. Мне часто становилось плохо, и помогала только еда – я попеременно грызла то орешки, то соленые палочки, то шоколад, запивая все это лимонадом, и вскоре так отяжелела, будто должна была вот-вот родить. Эрнст стал еще ласковее; постоянно приносил мне конфеты или цветы и развлекал историями из сберегательной кассы. «Я – врач для денег, – говорил он порой, – я знаю о людях больше, чем терапевт, знаю их желания и неудачи, знаю их планы на жизнь и даже на смерть, потому что мы распоряжаемся и наследственными делами, депозитными свидетельствами, которые предназначены внукам или дочерям в обход зятьев». Конечно, Эрнст работал лишь с мелкими сошками – люди с деньгами не ходили в сберегательную кассу, а если и ходили, то точно не в Л., где типовой домик с садом, такой, как мы купили в рассрочку, был пределом мечтаний. Эрнст хотел девочку, и это меня слегка удивляло; я думала, все мужчины мечтают о сыне. «Мне везет на женщин», – сказал он тогда и весело взглянул на нас с Ирми. И действительно – его желание исполнилось.

Иногда Даниэла вызывала у меня легкое отвращение. Когда дочь была маленькой девочкой, она всегда осматривалась после падения и если вдруг кого-нибудь замечала, то начинала громко плакать. Она постоянно высматривала нас, но не потому что хотела быть с нами, а потому что, казалось, высчитывала, как себя вести. Однажды на пляже ко мне подошла мать, она вела за руку дочку лет двух со следом укуса на руке. «Это сделала ваша дочь», – заявила женщина, которая

казалась скорее удивленной, чем разгневанной. Я позвала Даниэлу и расспросила ее, но она лишь качала маленькой головкой со светло-рыжими волосами и отводила взгляд. Больше всего меня напугало, что я поверила женщине, а не Даниэле, которой тогда было четыре года. В ней таилось какое-то лукавство, и я каждый раз ломала голову, откуда это появилось в ее характере: точно не от моих родителей, не от Ирми и не от Эрнста – оставался только Хайнц-Гюнтер. Я не хотела тревожить Ирми и ждала, когда она заговорит о нем сама. Возможно, другие дети такие же и я судила слишком строго. Эрнст, разумеется, ребенка баловал – он был влюблен в Даниэлу, как в меня в первые годы брака. Возможно, я недостаточно заботилась о дочери, я испытывала облегчение, что скоро смогу опять выйти на работу и Даниэла останется с Ирми, которая точно сможет позаботиться о девочке наилучшим образом. Ирми не высказала мне ни слова упрека, но иногда я замечала в ее взгляде несомненную тревогу. Мы купили собаку, потому что решили, что Даниэле нужна компания. Это был спаниель, кроткое существо, которое терпеливо позволяло Даниэле командовать. Иногда она брала его на колени и сжимала так крепко, что он начинал вырываться; тогда она щипала его, хватала за маленькую мордочку и поворачивала к себе. «Ты мой пес, – твердила она, – и должен делать, что я говорю!» Мне было жаль животное, и я надеялась на школу – возможно, там Даниэла утратит свою бездушность и самолюбие, которые казались мне чрезмерными.

Но Даниэла была и оставалась необщительной. Она предпочитала проводить время дома, где играла роль принцессы: все гости приносили ей какие-нибудь подарки, она пересаживалась с рук на руки и кокетничала с друзьями Эрнста. Больше всего ее волновали красивые платья; по утрам она долго размышляла, что надеть, и возникали мучительные споры, если ей не нравился свитер или приходилось надевать брюки, потому что шел дождь. Я пыталась сдерживаться, быть терпеливее и относиться к дочери с пониманием, но ее поведение смущало меня, и, думаю, мы друг другу не нравились. Иногда она садилась перед моим трельяжем в спальне, сосредоточенно красила лицо, крутилась и рассматривала себя со всех сторон. Нежная и грациозная, она с удовольствием ходила на балет и по вечерам демонстрировала нам в гостиной новые пируэты – это была ее стихия. Я купила пианино, на котором играли мы обе, но она быстро утратила

амбиции, и долгое время ее вообще было невозможно чем-нибудь заинтересовать. Еще она не любила, когда я ее трогала.

Жаль, я не видела его лица. Интересно, узнал он меня или нет, понял ли в последний момент, что случилось. Но было темно, и все произошло очень быстро. Я почувствовала глухой удар, увидела, как он взлетел в воздух — хотя, возможно, это лишь плод моего воображения, было почти ничего не видно, только в свете фар падали светло-серые блестящие капли дождя. Никаких звуков я тоже не слышала. Возможно, я была слишком возбуждена.

Говорят, чем старше мы становимся, тем быстрее течет время, но тогда мне казалось, что жизнь замерла на месте. Даниэла становилась больше, Эрнст — толще. Ирми почти не старела, только начала пить таблетки от давления, про которые чаще всего забывала. Я не помню событий и смотрю на нас, как на фотографию: пятнадцать лет мы провели на одном диванном гарнитуре, обивка постепенно темнела, но потом мы заказали новую. Деревянная чаша из Испании, в которой лежали соленые орешки; маленькая оловянная кружка, в которой стояли зубочистки; подставка из пробки. Эрнст бросил курить. В том месте, где он всегда сидел, возле дивана протерся ковер. Окно в сад было всегда открыто, и со временем в комнате стало темнее, подросшие ели загородили свет. Ирми сидела в кресле, рядом стояла лампа для чтения; она занималась рукоделием, пока работал телевизор. Вязала одежду для Даниэлы, вышивала шали и покрывала, а Эрнсту доставались пуловеры и куртки, подходящие к его новым формам. Он по-прежнему был весьма хорош собой, и с годами его голос стал громче, потому что он привык, что клиенты его внимательно слушают.

Я тем временем практически возглавила отдел сбыта. Мой шеф был больным человеком, и фирма не хотела его увольнять, но всем было ясно, что на самом деле всю работу делаю я, и платили мне соответственно. Я по-прежнему с удовольствием ходила в офис, хотя предприятие сильно изменилось со времен моего детства. Старый Херманн умер, и никто больше не развозил сотрудникам рождественскую премию лично; фирму купила другая фирма, и все самые важные сделки заключались в Ф. Я не знала иностранных языков, только учила в школе английский, и мне было ясно, что

большого мне уже не добиться. Я быстро водила машину – это всегда доставляло мне удовольствие, – и иногда мы с Эрнстом договаривались с Гансом или кем-нибудь еще провести выходные на Рейне или на Мозеле; мы дегустировали вино, выпивая всегда слишком много, а потом возвращались домой. Однажды меня попытался поцеловать Фредди – Эрнст был уже в отеле, а мы, пошатываясь, плелись последними, и я сначала позволила ему, но потом не выдержала и громко рассмеялась. Не только потому, что была пьяна, мне показалась комичной тщетность происходящего в целом. Нам что, следовало прокрасться ночью по коридору, пока Сабина спит в его кровати и Эрнст в моей, а потом обжиматься на берегу Мозеля?

Между тем в газете появилось второе сообщение. Назвали даже имя, что показалось мне странным. Потому что если есть свидетели, то они должны помнить о самом происшествии. Оглашение имени погибшего им ничем не поможет.

Насколько я помню, мы познакомились третьего мая, в день рождения Даниэлы. Мы устраивали вечеринку в саду для ее подруг, а вечером собирались пойти в кино. Перед этим была суббота, и наш хор давал концерт в санатории; обширная программа от Генделя до Легара, в рамках празднования тысячелетия города, после нее танцы, а вначале – речь. Билеты стоили дорого, работал солидный буфет, и я специально купила себе новое платье, темно-голубое, почти в пол, со сверкающей серебряной отделкой из шифона. Я выложила за него десять фунтов. Мы с дирижером хора Беккером сидели довольно далеко впереди и распивали вторую бутылку шампанского, когда он подошел к нам.

Я уже успела обратить на него внимание. Очень высокий, с хорошей осанкой; смокинг был ему чуть тесноват, но двигался он элегантно, и мне нравилось, как он курил. Не жадно затягивался, но и не давал сигарете погаснуть, в определенном смысле отдаваясь процессу, пока разговаривал с женщиной, сидевшей напротив. Они расположились за столиком рядом с нами, прямо возле танцпола, но музыканты еще не играли. Он подошел к Беккеру, пододвинул стул и сказал ему что-то дружеское – я видела, как Беккер восторженно жестикулировал и, наконец, показал на меня. Я встретила взгляд незнакомца, и он улыбнулся. Завтра Даниэле должно было

исполниться тринадцать, я уже встретила свой сороковой день рождения, но знала, что по-прежнему прекрасно выгляжу и была лучшим сопрано Беккера. Рядом со мной сидел муж, напротив – Фредди и Сабина, и вечер обещал быть веселым. Когда он нам представился, то казался вежливым и обходительным, немного напоминая продавца, возможно – недвижимости. Он похвалил нашу программу и дал понять, что разбирается в теме, расспросил о тонкостях контрапунктов и наконец сказал, что раньше тоже занимался вокалом. Потом сообщил, что он новый управляющий по культуре, и поэтому его особенно интересуют такие мероприятия, как наше; я слышала в этом куда меньше формальности, чем ощущаю сегодня, потому что он был бойким и остроумным и особенно хорошо нашел общий язык с Сабиной. Наконец он вернулся за свой столик, и когда заиграла музыка, я увидела, как он танцевал с молодой блондинкой весьма страстный вальс. Я делила с Сабиной Фредди, потому что Эрнст не танцевал, но большую часть времени сидела рядом с мужем и пялилась на паркет.

Я не заметила, как он подошел, потому что он направился к нам через коридор и, подмигнув, спросил у Эрнста разрешение пригласить меня на танец. Играл фокстрот, и нам невольно пришлось общаться – танцпол был забит битком, и было невозможно сдвинуться с места. Он сразу начал много говорить, упоминал свою секретаршу – ту молодую блондинку – и свою жену, которая, увы, заболела, а он не мог пропустить мероприятие по служебным причинам. Я не знала, шутка ли это, ведь я не имела ни малейшего представления об обязанностях управляющего по культуре; я только видела, что он хорошо проводит время, и мне тоже было весело. Меня тянуло к нему, хотя я чувствовала какой-то подвох; его ловкость и гибкая походка словно делали легким все вокруг, даже я сама будто стала меньше весить. «Мне нравятся ваши духи», – шепнул он мне на ухо, и я покраснела, потому что не пользовалась духами, и поэтому сначала его замечание показалось мне еще более лестным – но потом, поразмыслив, я заподозрила, что он знал об этом заранее, потому что он улыбнулся слегка заговорщически, когда я сказала ему, что думала.

Я всегда говорила ему только правду. Эрнсту обычно мне было лгать ни к чему, но и никаких признаний я не делала – потому что иначе лжи было не избежать. Между нами все шло как обычно, и

никакие разговоры не могли ничего изменить, сложности его не интересовали. Целью его жизни было спокойствие, это было ясно, как день, и он обращал внимание на людей, только если они нарушали его покой. Он был доволен, когда находил причину и мог отложить раздумья в архив – у Фредди неприятности в магазине, и поэтому он такой грустный, или Моника больше к нам не приходит, потому что у нее проблемы с алкоголем. Этого ему было достаточно, и он принимался ждать – спокойно, как Будда, – пока неурядицы не разрешатся самым приятным для него образом. Иногда он брал с тумбочки мои романы и вполголоса читал текст на суперобложке, а потом с искренним изумлением спрашивал, почему меня интересует измена дворянки из прошлого века – которая вдобавок умерла после этого от тоски. Ирми знала меня хорошо, но ничего не спрашивала; я очень ценила ее за это свойство. У меня было несколько подруг, которые рассказывали мне всякое – о маленьких интрижках, тайных печалях или просто о тщетных попытках получить от мужа каракулевую шубу. Я ничего подобного рассказать не могла; я могла сама купить себе меха, но и Эрнст подарил бы их мне без всяких разговоров, ведь покой в доме был для него превыше всего, и он бы согласился заплатить каракулем. Он получил желаемое – меня – и оттого стал уступчивее и еще терпеливее, чем прежде; у него больше не осталось желаний, но он не умирал, а продолжал жить, словно собака, которая постепенно начинает страдать ожирением печени, и, наконец, она тихо засыпает и видит прекрасные сны.

То, что он действительно мертв, я узнала только из газет. «Скончался на месте», – говорилось в первой и во второй статьях, с одинаковой формулировкой, словно сообщение просто переписали. Возможно, он сломал себе шею. Думаю, от внутреннего кровотечения люди не умирают на месте. Раскрываемость дел по бегству водителей с места происшествия постоянно растет, так написали в газете. Но что можно сделать, если свидетелей нет: не будут же они проверять все машины на пятьдесят километров вокруг. Хотя, вообще-то, это тоже бесполезно.

Тем вечером мы танцевали еще дважды; в полвторого, когда мы собрались домой, он по-прежнему находился на танцполе;

сомневаюсь, что он заметил наш уход. Мы все были слегка пьяны, и Сабина отвела меня на лестнице в сторонку и сказала о нем несколько восхищенных слов. «Любимец женщин, – восторгалась она, его ждет большая карьера! – Если бы Фредди так пристально за мной не следил – я бы не удержалась от греха». Но Сабина говорит так всегда, отчасти чтобы позлить Фредди, а еще потому, что ей довольно скучно живется в Л. «Я родила четверых детей исключительно от скуки!» – иногда говорила она; но при этом Сабина образцовая мать и такая же надежная, как Эрнст, просто не хочет этого признавать. Я ей ничего не ответила; я подумала, что посплю ночь, и все пройдет; в конце концов, все проходит; тебе уже за сорок, твердила я, завтра, нет, сегодня твоей дочери исполняется тринадцать, и ты давно разучилась флиртовать, даже если когда-то и умела.

Прошло несколько недель. Я действительно не умела флиртовать и никогда этому не училась; я вообще не умела относиться к чему-либо легкомысленно, просто пробовать, рисковать. Я могла только терпеть, это я умела прекрасно и могла вытерпеть все: Эрнста и его привычки, Руди Каррелла и его проглоченные «р», приступы злобы у Даниэлы и то, что Ирми не вечна; я могла вытерпеть все. Прошло несколько недель, и я с ним больше не виделась и думала по утрам в машине, что все к лучшему, потому что интрижки – это не для меня, а он был мужчиной именно такого типа, я поняла сразу. То же самое я твердила себе по вечерам, когда ехала домой; мы ужинали в компании Ирми, Эрнста и Даниэлы, потом садились смотреть телевизор, а Даниэла слушала в наушниках музыку у себя в комнате, или болтала по телефону с подругами, или просто валялась и пялилась на постеры, приделанные булавками к стене. Я бы с удовольствием занялась тем же самым, но все же испытывала облегчение, что мне подобное поведение не подобает – так могут вести себя лишь подростки: безудержно о чем-то мечтать.

Дело обретает все больший размах. Сегодня вышла еще одна статья, с очередным призывом оказать полиции помощь с расследованием. К его гибели отнеслись очень серьезно, и никто не знает, что его смерть – благо.

Тем летом состоялся еще один бал. Мы встретились снова, на этот раз в доме Блюменталь. На тот момент это было единственное место встреч высшего общества, открытое для всех, кто мог заплатить за вход, и туда явились синтетические пальто, юбки с блузками, компактные автомобили, мужчины в простых костюмах, у которых никогда не было смокинга; пришли и мы с друзьями. Управляющий по культуре тоже посетил это мероприятие: он произнес короткую речь с легкими шутками, понятными всем, и процитировал стихотворение Ленау. Он подошел к нашему столику и просидел больше часа, жены его опять не было, как и секретарши. Он станцевал со мной несколько кругов и сказал, что очень рад снова меня увидеть. А потом подсунул мне записку, но я прочитала ее не сразу, а позднее, когда пошла одна в туалет, и там было написано: завтра вечером в шесть у Фердинанд-Хаус – загородного ресторана у реки, – я изумленно и растерянно смотрела в зеркало, а потом разорвала маленькую записку на еще более мелкие клочки и не знала, как поступить.

Но все-таки поехала; это было несложно, сразу после работы я позвонила домой и сказала, что задержусь, а когда вышла на улицу, то почувствовала, как дрожат и трясутся колени, приплясывают ноги; я ехала по длинной аллее неуверенно, как ученица автошколы.

Он все еще сидел в машине, когда увидел, что я подъезжаю; только когда я припарковалась и вышла из автомобиля, он подошел ко мне, и мы немедленно направились в лес, словно договаривались заранее, и он сразу взял меня за руку, а когда мы преодолели первый поворот, остановился и сказал: «Маргарета», – и погладил меня по растрепавшимся волосам, и я почувствовала, как вязнут в земле мои лодочки, а вслед за ними – вся жизнь. Он был совсем не готов, что с ним может такое случиться, заверил он, заговорив первым, и я сказала то же самое. Но в тот момент мне не хотелось никаких объяснений, мне хотелось легкости. Но вместо этого – или, наоборот, поэтому – я заговорила о Филипе; в конце концов, мы оказались в том же лесу, и это было мое прошлое. Я рассказала про нас с Филипом все, и только когда он спросил, как я воспринимаю эту историю сегодня, я вдруг осознала, что думаю о ней уже почти двадцать лет, сама того не замечая. Каждую свадьбу в своем окружении – кроме собственной – я сравнивала с той, что могла быть у нас, и каждого увиденного мужчину воспринимала как искаженного Филипа; он стал моим

эталонем мужчины, как эталон метра в Париже; и каждую услышанную печальную историю я соотносила с собственным опытом, с моей любовью и нашей влюбленностью; и каждую весну я сравнивала с той, нашей весной, а каждое лето – с тем летом. Поэтому со мной не могло случиться ничего опасного. Я колебалась в оценке истории Филипа; я не хотела ее конца. Но теперь ее должен был закончить Михаэль, сорок три года, брюнет, управляющий по культуре в Л., женат, двое детей. Закончить, чтобы положить новое начало.

Разумеется, рассматривались только отели, и разумеется, мы не могли оставаться в городе. Иногда приходилось уезжать далеко в поисках нужного места; слишком отдаленного для других обитателей Л., слишком дорогого или слишком дешевого, слишком малоизвестного или предназначенного только для бизнесменов. Когда мы назначили первую встречу, со времени нашей прогулки прошло почти три недели, и с тех пор мы только говорили по телефону, причем у меня нередко отказывал голос или приходилось быстро класть трубку, потому что кто-нибудь заходил в комнату. Перезвонить я не могла, потому что меня соединяли с его секретаршей; приходилось ждать его звонка, словно животному – кормежки. Я не чувствовала себя униженной, скорее опустошенной, сделанной из бумаги или тонкой материи. Я слишком нервничала, чтобы есть, ковырялась по вечерам в тарелке и бормотала, что мне нехорошо; пила я тоже немного, потому что боялась проговориться во сне; только курила гораздо больше обычного, потому что это странным образом помогало не распадаться. Я очень старалась быть собранной на работе, но документы все равно постоянно пропадали, а потом находились в неожиданных местах, когда было слишком поздно, и я все время что-то теряла – ключи, очки от солнца и водительские права, сигареты и зажигалки, промокашки и списки покупок, и даже туфли. Я пошла к врачу и получила справку о больном желудке – так я объясняла собственную рассеянность, потерю веса и повышенную нервозность. Только Даниэла иногда смотрела на меня таким взглядом, будто о чем-то догадывалась.

Я сразу поехала на мойку. Ту, что находится на съезде с автобана; минимум дважды в месяц я мою там машину, чищу пылесосом все коврики и сиденья и покупаю газеты, журналы и что-нибудь погрызть,

иногда мне меняют масло или проверяют давление в шинах; я с удовольствием забочусь о таких вещах, сотрудники меня уже знают, и мы нередко перекидываемся несколькими фразами. В тот вечер я купила «Бригитту» – ведь была среда – и «Мадам», лакричные леденцы и тряпку для мытья окон и еще немного побеседовала на кассе с хозяйкой о постоянной непогоде. Никакого волнения я не чувствовала; возможно, это был шок, а может – своеобразная гордость, ведь я действительно сделала нечто полезное; мой голос точно не изменился, и вела я себя совершенно нормально. Потом я поехала домой обычным маршрутом; Эрнст уже был дома, смотрел политическую передачу, а Ирми сидела рядом в кресле и вязала; оба ничему не удивились, я вернулась не позднее, чем обычно, когда задерживаюсь на работе.

Когда я впервые приехала в отель, у меня перехватило дыхание. Стоял мягкий летний вечер, ветра не было; я подстриглась и радовалась, что нет дождя; я надела новые коричневые кожаные лодочки и винно-красный костюм, купленный всего несколько дней назад. Пришлось долго раздумывать насчет белья: для черного я была немного старовата – во всяком случае, мне так казалось, – и боялась показаться банальной. Наконец я выбрала бежевый комплект с очень открытым бюстгалтером и темно-красными чулками. Он еще не приехал; я села за столик на террасе, заказала вина и пыталась спокойно ждать. Это был загородный отель в уединенном месте; неподалеку журчал ручей, и виднелась гора, на которую можно было заказать экскурсию. Вино оказалось слишком теплым, вокруг летали комары. Через два столика сидела шумная компания, решительно настроенная повеселиться и выпить, возможно – члены кегельного клуба. Я могла оказаться на их месте, с Эрнстом, Фредди, Сабиной и остальными, но вместо этого сидела здесь, ждала человека, который должен был стать моим любовником, курила, чтобы отогнать насекомых, и каждые три минуты поглядывала на часы. Эрнсту я сказала, что поеду в филиал и могу задержаться, потому что мы еще пойдем ужинать в Г. Но я должна была вернуться домой самое позднее к полуночи, а было уже восемь. Прошло полчаса, и я уже подумывала уехать прочь, но не спешила принимать подсказку судьбы; с этим мужчиной я хотела большего, чем торопливые разговоры по телефону

и молчаливые прогулки в лесу, я хотела оказаться с ним в одной комнате, хотела шептать лишь по своей прихоти.

Но я не догадывалась, что в итоге буду не шептать, а кричать. Мне было все равно, кто услышит, ведь я знала, что мы никогда сюда не вернемся, это правило он озвучил сразу: никуда не приезжать дважды. Сначала это кольнуло меня, хоть я и не могла объяснить почему, и только на обратном пути я поняла, что именно меня смутило; наш план был хорош, но, возможно, он был лишь частью еще большего плана, а я не хотела становиться частью плана, цель которого была мне неизвестна. Когда он потянулся к куртке за сигаретами, я натянула одеяло на живот и посмотрела на красно-зеленое полосатое кресло возле кровати, на котором лежала моя сумочка; и подумала – лучше бы я вообще не заметила этого кресла; я больше никогда его не увижу, это случайный предмет мебели, немного потрепанный и просиженный, совсем не такой уютный, как у Ирми, но тоже с лампой для чтения, и ее большой желтоватый абажур стоит немного криво. Пепельница была стеклянная, с рекламой сигар, треугольная и плоская, как в пивной. Он поставил ее себе на живот, зажег для меня вторую сигарету, и мы лежали молча, а я раздумывала, насколько хорошо выглядит моя прическа. Я подняла голову и посмотрелась в зеркало, приделанное к дверце шкафа, – и увидела там женщину средних лет с темными волосами и распаленным лицом, обессиленную и серьезную; изображение показалось мне расплывчатым, но зеркало могло быть старым. Настал подходящий момент для объяснения в любви, но я не решилась. В положении лежа его живот казался более плоским; мой, наверное, тоже. Я поймала себя на том, что жду его первой фразы; это был своего рода экзамен, о котором он не знал. Только когда он покопался на прикроватном столике и наконец сказал: десять часов, я поняла, что все экзамены пройдены; мне было все равно, что он скажет, я просто хотела встретиться с ним еще. Я увидела свое белье, лежавшее на полу; он медленно его с меня снял и принялся водить кончиками пальцев по коже; я задрожала и попыталась на него посмотреть, но не смогла; я слишком боялась испортить ту первую ночь, пусть и неполную.

Потом стало только лучше. Я наслаждалась собственными криками и страстно желала его раздеть; я исчезала в ванной и возвращалась голая или медленно раздевалась перед ним; однажды я

вышла на балкон, полностью раздетая, а за мной в темноте виднелись горы; он наблюдал из комнаты, а потом я села на каменный парапет и позвала его к себе. Уже потом мы вынесли на балкон постельное белье, лежали и смотрели на небо, курили, пили шампанское и пытались отыскать Млечный Путь. Я расставила вокруг свечи, которые озаряли нас первобытным светом, и мы пролежали так очень долго, хотя пол был жестким. В другой раз, в Ф., мы встретились в отеле в центре города; номер находился на семнадцатом этаже, и мы смотрели с кровати на высотные дома, где даже в половину одиннадцатого ночи мерцали огни, пока мы лежали друг на друге и разговаривали; я была наполовину раздета, и вдруг он продолжил раздевать меня; начал с чулок, не говоря ни слова, и я почувствовала, как медленно соскальзываю на пол.

Я перестала различать наши запахи, хотя принимала душ, когда приходила вечером домой; чтобы это не слишком бросалось в глаза, я стала делать так каждый день, объясняя, что страдаю от приливов. Мне казалось даже забавным изображать, будто я мучаюсь от климакса, хотя на самом деле я чувствовала себя лет на двадцать, а остальные, похоже, этого вовсе не замечали. После наших свиданий я надевала пижаму и ложилась в постель с каким-нибудь романом; но не читала, а ждала, пока Эрнст повернется ко мне спиной и заснет. Он перекатывался на свою сторону, почти до самого края, свешивал руку с кровати, немного похрапывал, но вскоре начинал дышать ровно; оставался в такой позе и крепко, безмятежно спал до сигнала будильника; я же часто крутилась с боку на бок и радовалась, что окно с моей стороны – хотя неба было почти не видно, я могла слушать, как шуршат на ветру кусты и ореховое дерево, на котором висели качели Даниэлы.

* * *

Интервью с комиссаром, который ведет расследование. Я подозреваю, вокруг дела поднялась такая шумиха, потому что рассказывать больше попросту не о чем: школьный спортивный праздник, торжественное открытие нового помещения торговой палаты, периодические мелкие взломы и предупреждения об

аферистах, которые якобы собирают абонентскую плату за радио и при этом осматривают квартиры, выбирая, какие будут грабить при удобном случае. В газете написано, что это исключительный случай – общественность информирует не представитель пресс-бюро, а должностное лицо, ведущее дело. Когда я увидела фотографию комиссара, то поняла причину: мужчиной движет тщеславие, ему нет даже сорока, и он приехал из Ф., ему не терпится отсюда выбраться, а нераскрытое убийство со скрывшимся преступником плохо смотрится в личном деле.

Я снова допустила ту же ошибку. Я хотела узнать о нем все, начиная с семьи. Он никогда не говорил плохо о жене, это сразу меня расположило. Уже на первой прогулке он назвал ее имя, облегчив наш разговор; мне было куда менее неприятно говорить о Карин, чем о его жене, и обоих своих сыновей – четырнадцати и восьми лет – он тоже представил по именам. Он даже показал мне фотографию, словно хотел ею отгородиться, как католики осеняют себя крестом, если встречаются дьявола или ведьму. Я не знала, следует ли мне рассматривать снимок, но он вложил мне его прямо в руку, и я послушно уставилась на изображение. Двое детей с прямыми светлыми волосами средней длины, в ярких полосатых джемперах; они выглядели безобидно и немного удрученно; на заднем фоне виднелся голубой бархат. Их мать и его жена стояла за детьми, положив каждому на плечо руку; у нее были такие же прямые светлые волосы, широкое, немного угловатое лицо, и она смотрела в объектив фотоаппарата с энергичным, довольным видом. Давно ли сделано фото, поинтересовалась я, чтобы спросить хоть что-нибудь, и он ответил: года два назад. Ночью я раздумывала, почему он выразился так невнятно – хотел ли меня побережь или действительно мог не помнить, ведь такие фотографии обычно получают в подарок в честь какой-нибудь даты, на день рождения, Рождество или окончание учебного года. Лицо Карин мне почти не запомнилось; она выглядела как хорошая мать и бережливая хозяйка – на работе таких называют дельными сотрудниками; не робкие, но и не слишком притязательные. В юности она наверняка была очень симпатичной девушкой, с густыми волосами и курносый носом, ясными голубыми глазами и тем розоватым цветом лица, что так часто бывает у блондинок; теперь же

она казалась тяжеловатой, не толстой, но и не грациозной; не сносит на своем пути предметов, но на эскалаторе таких предпочитают обходить, чтобы не стоять за широкой спиной и не ждать, когда она сделает шаг.

Он даже рассказал, как они познакомились; на лыжном курорте в Австрии, где оказались в одном отеле; она отдыхала с родителями, а он тогда еще работал в администрации Ф. и приехал в отпуск с коллегой. Вечером она пришла одна в бар; они выпили по бокальчику и выяснили, что у них есть общие знакомые в Ф., где она изучала коммерцию. Ее родители вели себя довольно сдержанно, но, казалось, ничего не имели против; он говорил о тесте даже с каким-то восхищением: этот человек смог самостоятельно подняться на ноги после войны и при этом был очень общительным, прекрасно играл в карты и любил выпить. Его маленькая пекарня разрослась до обширной сети с четырнадцатью филиалами, но вплоть до апоплексического удара он продолжал работать в самом первом магазинчике, потому что был привязан к нему и чувствовал себя там лучше всего. А теперь дело унаследовала Карин и прекрасно им управляет... Я не знала, что ответить; хвалить деловую хватку Карин казалось глупым, но и критиковать ее не хотелось, и к тому же меня не покидало чувство, что история была не совсем правдивой. Уже потом, совершенно случайно, истина выплыла наружу: когда они поженились, она уже была беременна, но он преподнес этот факт, будто он совершенно ничего не значил, они и без того бы обязательно поженились, и Томас лишь ускорил события. Я знаю по историям своих подруг, что иногда человек искренне в такое верит; в конце концов, я вышла за Эрнста из похожих побуждений – нужно было найти хоть кого-нибудь, в конечном счете неважно кого. Мы все хотели домик с садом и детей, и ездить в Испанию, и мирно стареть, и если человек не совершал грубой ошибки, он вполне мог стать счастливым – а разве можно грубо ошибиться в том, кто родился в твоём городе, кого ты давно знаешь, ведь у его родителей магазинчик за углом, или они стригли твоего дедушку, или сидят за окошком сберегательной кассы. Только у нас ничего не вышло.

Я сразу пошла в ту пекарню; я хотела хоть раз увидеть ее лично. По его рассказам, она по-прежнему работала там раз в неделю, чтобы не засидеться за книгами, и я даже могла ее понять. Наверное,

продавать хлеб приятно; он вкусно пахнет, такой свежий и теплый; и не вызывает ни у кого отвращения, в отличие от продуктов мясной лавки, где весь день вращается на витрине свиная голова; а еще при покупке хлеба люди более уверены в себе; они знают, чего хотят, и поэтому веселы или хотя бы довольны, в пекарне не услышишь придирчивое «мне восьмушку – нет, еще на ломоть поменьше», сводящее с ума, когда ждешь своей очереди. Я даже знала это место, оно находилось в квартале, где я выросла; крошечный магазинчик с одним-единственным окошком, в котором из года в год стояла одна и та же хлебная корзина; когда я была маленькой, то верила, что в ней настоящий хлеб. Теперь витрина смотрелась куда более многообещающе: там выставлялись цельнозерновые изделия с пониженной калорийностью, испеченные в виде кренделей и прекрасно подходящие для гриль-вечеринок. Я увидела за прилавком молодую, очень некрасивую девушку, дождалась, пока из подсобного помещения вернется она, и, наконец вошла. Мне не хватало отваги завести разговор о хлебе, но сразу выходить обратно на улицу я не решилась, а потому закупились, как для вечеринки, и пропустила вперед себя в очереди двух женщин, объяснив, что я надолго. Она работала без спешки, но сосредоточенно; можно было бы сказать профессионально, но для булочной это прозвучало бы слишком громко; немного поговорила со знакомой клиенткой, но без лишнего дружелюбия; это была не торговая хитрость, а искреннее общение, возникающее, когда люди знают друг друга много лет. Ее волосы были уложены в пучок на затылке, это выглядело немного надменно, но шло к ее практичным манерам и белому халату; думаю, людям становилось спокойнее в ее присутствии. Я задалась вопросом, догадывается ли она, что ее муж уже несколько недель снимает с меня белье и шепчет мне в шею признания в любви, что он методично обманывает ее, что два дня назад мы встречались в дешевом пансионе для коммивояжеров, а уже завтра вечером идем на свидание в Ф., в роскошный отель рядом с ярмаркой, где с семи до десяти у нас будет комната с двуспальной кроватью. Она казалась такой невозмутимой, что я засомневалась, сочувствовать ли ей или завидовать; мне и в голову не пришло, что следует ее бояться.

Вчера речь об этом зашла даже в кегельном клубе. Бригитта спросила, хороший ли это знак, если полиция официально признает, что у нее нет никаких подвижек, и предаст дело широкой огласке, Моника покачала головой над ажиотажем, возникшим вокруг убийства, а Ирен прошептала, что это ужасно. Брата Ирен сбила машина, когда она была еще маленькой, и с тех пор он не может нормально двигать левой рукой; все мы знали об этом, но молчали. Все считали, что виновник аварии был в нашем городе проездом, потому что все произошло неподалеку от автомагистрали и среди жителей города преступника точно нет.

Даниэла пристально за мной наблюдала. Одна из немногих, дочь обратила внимание на изменения в моем стиле одежды; я скинула еще пять килограммов и почти вернулась к своему юношескому весу. Я перестала носить темные брюки и юбки, строгие блузки и платья висели глубоко в шкафу; вместо них я купила легкие брючные костюмы светлых оттенков, классический черный, с боковым разрезом на юбке, несколько однотонных обтягивающих платьев с весьма глубоким вырезом, подходящих для работы и выходов в свет. Теперь я выбирала юбки и блузки с запахом, вещи, которые можно было элегантно снять, и все-таки купила черное белье, потому что оно нравилось Михаэлю. Я уже давно посещала раз в месяц косметолога, но теперь мои визиты участились, и я начала иначе красить волосы. Я попросила добавить рыжеватого оттенка и в целом стала выглядеть изысканнее; возможно, я пыталась подчеркнуть разницу между собой и Карин, пусть и неосознанно; я хотела выглядеть волнующе, под стать собственным чувствам, и это мне удавалось. Недалекий Эрнст не замечал вообще ничего, а когда наконец обратил внимание – пропускать замечания Даниэлы мимо ушей стало невозможно, – то добродушно попросил ее оставить маму в покое, ведь это прекрасно, что она хорошо себя чувствует. Мне следовало порадоваться, но я только разозлилась – это прозвучало так, словно он хотел защитить меня от моей дочери-подростка, оказать милость стареющей мамаше, которая переживала последнюю весну. Ирми ничего не говорила; ее глаза становились все слабее, и думаю, она не обращала на меня особого внимания; только заметила мою тревожность и начала

беспокоиться о моем сне. Я ужасно намучилась в климакс, говорила она порой с глубоким сочувствием.

Исчезать на несколько часов не составляло труда. Эрнст никогда не интересовался моей работой; я не брала его с собой на корпоративы – преемники Херманна проводили их довольно редко, – и он не знал почти никого из моих коллег. На его месте я бы уже давно что-то заподозрила, но он ни о чем не спрашивал – ни о вечерних курсах повышения квалификации, ни о праздновании юбилеев, ни о деловых ужинах; они с Ирми только начали чаще настаивать, чтобы я возвращалась домой к ужину, и пристально следили за моим рационом. Мы часто обсуждали необходимость принимать железо и вопросы укрепления нервов; мне следовало пить пиво и глотать витамины. На вечеринках с друзьями на перемены во мне обращали внимание в основном женщины; некоторые с многозначительным видом замечали, что я прилично похудела, что мне идет новая прическа и что я помолодела на десять лет. Но, думаю, об истинной причине происходящего никто не догадывался, потому что за все годы я никогда не жаловалась, не флиртовала и не вздыхала. Я всегда приходила с Эрнстом и уходила с Эрнстом, мы не ссорились перед посторонними, считались гармоничной парой и даже вызывали легкую зависть – Эрнст по-прежнему потому, что получил красотку Маргарету, а я из-за добродушия мужа. Он никогда не читал мне нотаций, никогда не перебивал и не шутил в мой адрес, по-прежнему вставал, если я заходила в комнату, и отодвигал для меня стул, помогал надеть пальто и придерживал передо мной каждую дверь, и не стыдил, если я пила или курила. На единственный в нашем кругу развод я смотрела с недоумением – отчасти потому, что считала «обмен» Хильды не слишком выгодным. Но, главное, я просто не представляла, как она могла почти целый год заниматься этим на заднем сиденье легковушки своего Райнера или в квартире свекрови, пока та ездила на лечение в С. Теперь я стала понимать их гораздо лучше, но все равно не могла представить, как можно провести так целый год.

Я осмелела. Однажды он отменил встречу, потому что должен был присутствовать на открытии музея под открытым небом в Н.; обер-бургомистру неожиданно пришлось уехать на другое мероприятие. Я никогда не бывала в Н., глухом местечке в полчаса езды от Л.; там не было ничего интересного. Мы бы и так смогли увидеться лишь

ненадолго, потому что была суббота, а в субботу семья – святое, но это злило меня еще сильнее. Даниэла хотела поехать на день рождения школьной подруги, которая жила на ферме довольно далеко от города, и я сказала, что отвезу и заберу ее, а в промежутке заеду в соседнюю деревушку, к старой приятельнице. Стоял очень жаркий летний день, и я выбрала платье, которого он еще не видел; на пуговицах, из шелка с цветочным узором, с глубоким вырезом и подходящим коротким жакетом; из белья я надела только бюстгальтер; я чувствовала себя неотразимой, когда садилась в машину, и хотела сразить его наповал. Даниэла мрачно опустила на соседнее сиденье; за всю дорогу мы едва ли обмолвились хоть словом. Она не верила мне, но сама не знала почему. Высадив ее, я взглянула на часы: празднество в Н. уже должно начаться, и если я поспешу, то, возможно, еще успею услышать его речь.

Так и получилось. Я оставила машину далеко, на прилегающей улице, потому что парковка была переполнена, и пошла пешком по раскаленной от жары дороге. Бывший крестьянский двор прекрасно отреставрировали: побелили стены, покрасили в темный цвет каркас, поставили у ворот старый насос, установили во внутреннем дворе фонтан, вокруг которого собрались люди. На маленькой сцене собрались несколько мужчин в дорогих костюмах и стройная женщина в темной одежде, а возле потрескивающего микрофона стоял Михаэль. «Успех наших структурных реформ, – говорил он, – демонстрирует это здание – не просто краеведческий музей под открытым небом, но будущее место встреч здешней общины, место, где наглядно и понятно демонстрируются самобытность нашего общества, история этой страны и социальное развитие Н. и его окрестностей. Удивительно, – говорил он, – что в нынешние времена повсеместного рационализма удалось соорудить подобное место, которое не только является живым воплощением истории нашей страны, но и воссоздает условия жизни прошедшей эпохи, чтобы можно было ярче представить тяжелый труд людей того времени». Примерно в этот момент в разговор вступили несколько коров и осел, которые паслись на соседнем поле, что вызвало смешки и аплодисменты – очевидно, некоторые гости уже напились, – а он сделал шаг назад и переговорил о чем-то с другими организаторами, стоявшими на импровизированной сцене. Наконец он снова взял микрофон и повел речь о механизации сельского хозяйства,

интенсивном использовании природы и о снижении качества жизни, которое возникает из-за механизации и стандартизации в этой области. «Несмотря на очевидные преимущества, – сказал он, – разделение труда все же является палкой о двух концах, потому что семейное хозяйство, пусть экономически невыгодное, но сохраняющее традиционный уклад, утрачено почти полностью...» В этот момент он заметил меня; я стояла сзади, в стороне от толпы, но мое платье трепетало на ветру, и я смотрела прямо ему в глаза, потому что хотела знать, обрадуется ли он. Он на секунду запнулся – хотя, возможно, его просто сбила фраза о семейном хозяйстве, – но потом снова взял в себя в руки и заговорил о старых способах производства, наглядно представленных в музее, о фонтане и внутреннем устройстве комнат, полностью воспроизводящем уклад жизни большой крестьянской семьи начала XIX века, от деревянной колыбели до бог знает чего еще, но уж точно не могилы. Наконец он поблагодарил людей, которые занимались проектом, перечислил какие-то институты и даже упомянул сберегательную кассу Эрнста, а потом директор музея назидательным тоном завела рассказ об общественном строе конца XVIII века, об участии женщин и детей и о мертворождении, и в заключение заговорил мэр Н., толстый мужчина с бородой, но его речи я не запомнила. Потому что все время наблюдала за Михаэлем, который стоял рядом с директором музея и что-то шептал ей на ухо, а она слушала с напряженным, иногда даже глуповатым видом; один раз она тихо хихикнула, но в конце оба зааплодировали мэру. Осел снова закричал. Я вернулась к машине и взяла сумочку; закурила и направилась к пастбищу. У меня всегда припасены пакетики с сахаром из отелей, и я с удовольствием угощаю им животных, а здесь, несмотря на обилие семей с детьми, я, похоже, единственная вооружилась запасом продовольствия. Осел сразу подбежал ко мне. Я потихоньку выдавала ему сахар и старалась растянуть удовольствие, сомневаясь, что Михаэль одобряет мое появление в этом месте. Животные успокаивали – особенно корова с огромными глазами, которая равнодушно на меня уставилась. Мне ужасно захотелось снова стать семнадцатилетней, чтобы оказаться ровесницей Даниэлы или чуть старше, в этой сцене было бы столько невинной грации, ведь все охотно верят, что юную девушку привлекают животные; для взрослой женщины это немного нелепо, ей не пристало стоять в шелковом

платье возле пастбища и покупать симпатию с помощью сахара. Я отдала оставшийся сахар маленькому мальчику, который стоял рядом, еще раз напудрила нос и огляделась; я понятия не имела, где мог быть Михаэль. Я прошла мимо здания, которое называлось «большой сарай» – он был абсолютно пуст, не считая разных колясок и экипажей, – и заметила на стене «большого молочного хозяйства» картонную табличку: стрелка указывала на зал заседаний. Я направилась туда, увидела накрытые столы и человек тридцать гостей, стоявших вокруг с бокалами в руках. Михаэль разговаривал с директором музея и двумя пожилыми мужчинами; он заметил краем глаза мое появление и сразу отвел взгляд, я же взяла бокал вина и принялась рассматривать стены со стендами, повествующими о старых методах удобрения, ячменном супе и салате из щавеля. Я узнала, что в те времена все семейство нередко спало в одной кровати, а челядь – на скамьях у печки и что в большом зале стоял буковый стол с углублением в середине, из которого хозяева ели по вечерам суп вместе с работниками и служанками. Вдруг ко мне подошел Михаэль и спросил, зачем я пришла, а я растерялась и лишь холодно ответила, что вполне могу сходить на выставку, даже если по случайному совпадению ее открывает он. «Потрясающе выглядишь, – сказал он тихо, пока мы стояли возле стенда, посвященного сбору пшеницы и дистилляции спирта, и тогда я тихо прикоснулась к его руке и прошептала: «Через десять минут в большом сарае», – а потом перешла к следующему плакату и стала читать про рожь, ее выращивание и обработку, пищевую ценность и вредителей, а потом к следующему, где изучила нюансы производства сыра. Я не оборачивалась, пока читала; я слышала, как он шутит с директором музея, и твердила себе, что он – мой мужчина, даже если никто, кроме меня, этого не знает.

Когда он пришел в большой сарай, мы оказались наедине в теплой полутьме, где пахло сеном и кожей и немного – средством для уборки. Экипажи были подписаны, там стояла даже свадебная карета, а еще фургон для перевозки скота и открытый прицеп из дерева; сюда просто стащили ненужное со всех окрестностей. Периодически слышались чьи-то шаги по гравию, вдалеке играли дети; мероприятие было в самом разгаре. Я прислонилась к коляске и ждала его, а когда он оказался рядом, поцеловала и изо всех сил прижалась к нему;

почувствовала, как его губы стали мягкими и уступчивыми; мы утонули в том поцелуе, который длился и длился; когда я снова открыла глаза, его взгляд затуманился; снаружи сарай обошла группа людей и направилась к входу. Я взяла его за руку и потянула за собой к большой черной карете; открыла дверцу, залезла внутрь и сказала: «Иди сюда», и пока он медлил, шаги приблизились к нам, так что ему ничего не оставалось, кроме как быстро прошмыгнуть ко мне и закрыть изнутри дверцу. Я прильнула к нему и положила его руку себе на грудь, продолжая целовать; я хотела выпить его и обезоружить, чувствовала себя могущественнее, чем когда-либо в жизни, а та компания тем временем зашла в сарай, и какой-то мужчина громовым басом рассказывал об амортизации и шинах. Судя по голосам, там было несколько человек, в том числе женщины, которые с интересом слушали оратора, восхищаясь его знаниями. Они стояли недалеко от нас, когда я начала расстегивать платье; я слышала, как Михаэль стонет от возбуждения и, возможно, от страха; карета слегка покачнулась, и мы задержали дыхание; его рука лежала у меня на коленях, моя – у него на груди, и я чувствовала, как колотится его сердце; я ощущала его возбуждение и продолжила раздеваться, когда прямо рядом с нами зазвучал мужской голос: «Это очень старая модель, сиденья точно из кожи, и места хватит на четверых»; карета слегка спружинила, словно кто-то забрался на козлы, а Михаэль продолжал расстегивать крючки на моем бюстгальтере, дыша все громче; я крепко обхватила его ноги своими, чтобы не соскользнуть со скамейки; снаружи карету привели в движение. «Можно забраться внутрь», – услышала я голос другого мужчины, и Михаэль оцепенел; я протянула руку к дверце, крепко схватила ее за ручку и за одну долгую секунду испытала все чувства одновременно: возбуждение и страх, желание защитить нас и выйти наружу; я по-прежнему могла мыслить здраво, хотя мне было все равно, лишь бы это не прекращалось; я хотела оставаться возбужденной и могущественной, хотела переспать с ним здесь, в карете, немедленно, хотела взять над ним верх.

Губы Михаэля прижимались к моей груди, когда женщина снаружи сказала: «Совершенно не хочется лезть в этот темный чулан, давайте выйдем обратно на солнце»; мужчина слез с козел, карета еще

раз слегка качнулась, и мы слушали, как они удаляются, пока снаружи снова не зашуршал гравий и не наступила тишина.

Через неделю Даниэла вернется из последней школьной поездки. Странная идея уезжать после выпускных экзаменов, но, наверное, так даже лучше, ведь все самое страшное уже позади. Хотя весь последний год она относилась к школе абсолютно равнодушно; ее едва перевели в последний класс, и только перспектива съехать от нас после окончания школы заставляла ее хоть немного трудиться. По утрам, примерно без пятнадцати шесть, я нередко слышала звук ключа в замке и ее шаги вверх по лестнице, мимо нашей спальни; не слишком тихие, медленные лишь от усталости. Она сидела за завтраком с красными кругами вокруг глаз, угрюмая и тихая, словно делала нам одолжение: она вообще приходила по утрам домой, потому что ее заставляла это делать я. Карманные деньги ее больше не интересовали, в моей заботе она не нуждалась, но Ирми не должна была думать о ней плохо. Я пригрозила рассказать все бабушке и, если придется, – с подробностями; пусть Даниэла была совершенно равнодушна ко мне, Ирми она любила и, возможно, подозревала, что та не выдержит правды. С Эрнстом было иначе; она привыкла к его обожанию, оно казалось ей бесспорным и незыблемым – и в этом она, вероятно, ошибалась. Но Эрнст представления не имел об ее истинном образе жизни; со свойственным ему простодушием он говорил, что девушка должна спокойно веселиться, а если я настаивала на обратном, смотрел на меня усталым, немного ехидным взглядом и спрашивал: «Будешь сочинять ей назло инструкции?»

После того дня в Н. что-то изменилось. Я стала хладнокровнее и требовательнее; Михаэль восхищался мной и иногда терялся. Он и не догадывался, признался он однажды вечером, что во мне таится такой темперамент, такой вулкан. Я устраивала из наших свиданий безумные маленькие праздники; ждала его в номере отеля голой, приносила шампанское, приходила в полупрозрачной одежде или ничего не надевала под пальто, в котором дожидалась его в холле; я раздобыла книгу про афродизиаки и испробовала все; однажды я принесла с собой маленький магнитофон, поставила его на запись и включила пленку, пока мы любили друг друга. Я больше не признавала никакой

усталости и никаких повторений; каждая встреча не только происходила в новом месте, она должна была стать необычным опытом, новым воспоминанием; я хотела сделать его онемевшим и беспомощным от любви; я наслаждалась, когда его трясло от возбуждения. Я расспрашивала его о прежних отношениях, узнавала сокровенные желания и их исполняла; я хотела, чтобы он нуждался во мне так же сильно, как я нуждалась в нем. Я подарила ему кольцо, и он надевал его на наши встречи; он приносил мне нижнее белье, и я хранила его в машине; однажды он надел мне на ногу золотую цепочку с маленьким замочком; вскоре появился целый чемоданчик с особыми любимыми мелочами, которые нас возбуждали. Я завязывала ему глаза, пока мы занимались любовью, и провоцировала на жесткость, которой он сам от себя не ожидал. Я наслаждалась, когда он причинял мне боль, но контролировала ситуацию. Моя страсть распалась все сильнее, но при этом я никогда не теряла здравомыслия.

Я хотела конца и нового начала. Хотела уйти от Эрнста и начать новую жизнь, и инстинкт подсказывал мне, что ждать осталось недолго. Моя фантазия казалась неисчерпаемой, рано или поздно его жена должна была что-то заметить, и тогда ситуация уже будет зависеть не от меня, а от ее реакции, угроз, слез или невозмутимости. Я не считала Михаэля сильным мужчиной. Он постоянно изменял жене и сказал мне об этом откровенно; но раньше все было совсем иначе, уверял он, лишь короткие поверхностные интрижки, нередко на одну ночь, в командировке, на курсах повышения квалификации или просто после рабочего мероприятия, если с ним не ходила Карин. Она никогда ничего не замечала, она не склонна к недоверию и полностью поглощена материнскими обязанностями и управлением магазинами – в конце концов, ей никогда не приходилось ни о чем беспокоиться. Они вели хорошую, спокойную семейную жизнь, омраченную лишь тем фактом, что были привязаны к Л. Он хотел сделать карьеру и считал, что многого добьется; изучал театроведение и работал заведующим репертуаром в знаменитом Н.; он часто говорил о нищете немецких театров и о том, как легко можно эту нищету преодолеть – нужно просто обратить внимание на постановки в Н., которые восхищают зрителей, а не только критиков. Я поощряла эти разговоры, и не только из-за предположения, что Карин никогда так не делала, – я действительно верила, что ему, с его талантами, стоило попробовать

еще раз. Он сопротивлялся, но, судя по затаенной, нерешительной улыбке, идея ему нравилась. «В конце концов, у меня еще остались кое-какие связи», – говорил он; его старый друг работал на большой сцене в Б. и, возможно, мог устроить его на какой-нибудь проект, в качестве пробы, разумеется, без гарантий. Я стала внимательнее читать театральные обзоры, в том числе в межрегиональных газетах, которые мы выписывали на работе; стала запоминать имена, которые упоминались часто, и даже устроила кегельному клубу поход на постановку Шекспира, которую привезли на гастроли в Л. Вечер прошел безобразно, актеры много кричали и пронзительно хохотали; они бегали друг за другом по сцене, постоянно звучали хлопки, и было почти невозможно разобрать текст. Периодически выпускали туман, из динамиков гремела музыка, а потом вдруг внезапно обрывалась – я не понимала почему. В спектакле было нечто наркотическое; но при этом я заскучала, и мысли витали в каком-то другом месте. Эрнст беспокойно вертелся в кресле рядом со мной, а когда я, разумеется, с упрёком, предположила, что ему не нравится спектакль, ответил: «Нет-нет, очень нравится! Единственное, немного громковато!» Во время антракта в переполненном театральном буфете к нашей компании подошел Михаэль и заговорил о «глубочайшей интенсивности», которой всегда отличаются постановки из З. Большинство из нас удержались от критики, только Фредди довольно громко заявил, что такие вещи не для него и он предпочел бы просто выпить хорошего пива; он специально перечитал дома пьесу, но совершенно ничего не узнает в такой инсценировке; к тому же он не понимает, как при всеобщем помешательстве можно заметить сумасшествие короля; он остался только потому, что этот вопрос заинтересовал его, так сказать, с технической точки зрения. Пока он распинался, Михаэль стоял за спинкой кресла, в котором сидела я, положив ногу на ногу, и курила сигарету. В какой-то момент я почувствовала, как он провел пальцем по моей шее, и все волоски на моем теле встали дыбом. Я мысленно умоляла его остановиться и не останавливаться никогда; я подумала, что, возможно, будет лучше, если все откроется сейчас, в этот самый момент, когда Эрнст пробирается сквозь толпу с бокалом шампанского для меня, немного подволакивая левую ногу и выискивая меня глазами. Когда он подошел, Михаэль сразу убрал руку, слегка кивнул ему и направился к другой компании, где его горячо поприветствовали.

Он больше не оборачивался в мою сторону, и на короткое мгновение я почувствовала опустошение и беспомощность, словно он меня бросил, словно принял окончательное решение, убрав руку с моего тела и избежав встречи с моим мужем. Конечно, я твердила себе, что это лишь предосторожность и он не мог повести себя иначе, но зависимость от него усилилась, как никогда прежде. Эрнст спросил, хорошо ли я себя чувствую, я попыталась улыбнуться, кивнула и протянула дрожащую руку за шампанским. Эрнст снова повторил, что ему нравится постановка, и спросил, заметила ли я, как здорово прыгает шут. «У нас ничего подобного не увидишь, – удовлетворенно добавил он, – нужно было специально приехать из Г., чтобы показать, как это делается!» Я ничего не ответила, глядя на спину Михаэля в черном костюме, всего в нескольких метрах от нас, и мне было почти все равно, заметит ли что-то Эрнст. Я была готова отправить к дьяволу целый мир и лишь молча молила, чтобы Михаэль на мгновение обернулся и посмотрел на меня, но он этого не сделал.

Следующим вечером мы собирались встретиться в отеле в Ф., я сняла люкс и дожидалась его в номере, сомневаясь, что он придет; выключила свет и зажгла свечи, но, пролежав несколько минут без одежды на кровати, почувствовала себя как в склепе: мерцающий, тусклый свет, темнота вокруг, отдаленный шум транспорта... Я встала, взяла из ванной халат, затушила свечи, включила прикроватную лампу и взяла из мини-бара пиво. По телевизору показывали спортивную передачу, новости и какой-то вестерн, ничего интересного; я просто лежала, курила и раздумывала, чем все это закончится. Когда он наконец пришел, я почувствовала, что полностью остыла, но не хотела этого показывать; нежно подошла к нему и попыталась скрыть гнев, который еще минуту назад был страхом. Мы приняли вместе ванну и выпили бутылку шампанского, а когда все закончилось и мы лежали в постели, я крепко прижалась к нему и заговорила о Венеции. Я вбила себе в голову, что мы можем начать там новую жизнь; до Венеции было примерно двенадцать часов езды, ночью даже быстрее. А я непременно хотела начать эту новую жизнь именно ночью, когда мы будем одни. У меня были кое-какие сбережения, этого должно было хватить на два-три года. Ирми и Эрнст будут жить вдвоем в согласии и мире, а Даниэла уже ступила на свой отдельный путь; я заберу машину, сберегательную книжку и пару чемоданов. Карин будет и

дальше жить своей жизнью, их сыновья уже переросли самый сложный возраст; мы начнем все сначала в Б. или где-нибудь еще, как он решит. Я уже несколько недель носила в сумке рекламный буклет одного отеля в Венеции; сейчас, поздней осенью, там почти нет туристов, и весь город будет в нашем распоряжении. Я тихо повторила ему все, что он шептал мне на ухо в прошедшие недели, все признания и клятвы, жалобы на повседневную жизнь, фразы об экстазе наших сердец, наших тел. Потом я пошла в ванную и оделась. Когда я встала у двери с сумкой в руке, он вскочил с кровати и удержал меня. «Мы сделаем, как ты хочешь», – пообещал Михаэль, и я снова легла с ним в постель.

Мы договорились на ночь среды. Уже не знаю, почему я выбрала именно ту среду; это был обычный день, но так и планировалось; мне не нужна была магия, лишь ясный ум. Я купила новое дорожное пальто из легкого матового поплина и со съемной подкладкой из шерсти, несколько новых туфель, два платья, белье и костюм; а еще чемодан со скромной узорчатой подкладкой темно-красного цвета. Я хотела забрать из дома как можно меньше предметов и начать жизнь сначала. Достала из шкафа с одеждой лишь несколько особенно ценных вещей, чтобы заранее отнести в химчистку. Засунула в чемодан две любимые книги и фотографию родителей, которые умерли много лет назад; и больше ничего. Мысленно я готовила для Эрнста письмо, в которое собиралась вложить обручальное кольцо; я считала это своим долгом; все-таки он должен первым узнать, что от него ушла жена. Ирми я когда-нибудь напишу; она сразу поймет меня или, наоборот, не поймет вообще – я бросила ее сына и ее внучку, при всей взаимной симпатии и уважении, вряд ли она сможет такое принять.

Письмо Эрнсту я написала на работе. Оно получилось неловкое, скорее формальное, чем личное – возможно, из-за царившей вокруг атмосферы. Но я не хотела спешно строчить послание ночью, за письменным столом, хотя, возможно, несколько взволнованных строчек смотрелись бы менее безутешно, чем итоговый результат. Вышло нечто вроде официального обращения, но как я ни пыталась, лучше не получалось. Я не хотела делать никаких признаний; он и сам прекрасно знал, как мы жили, но в отличие от меня был этим доволен. Почти двадцать лет он наслаждался счастьем, но об этом я

промолчала; вряд ли Эрнст хотел знать о моих намерениях, и они его совсем не касались. Даниэле я стала не нужна – впрочем, разве когда-то было иначе? – и о ее будущем беспокоиться не следовало, потому что воспитывать в тринадцать лет уже поздно, а приглядывать и заботиться могла и Ирми. Я попыталась вспомнить какие-нибудь счастливые моменты, написать что-нибудь утешительное, но ничего особенного в голову не пришло, я плохо помнила веселые вечеринки в кегельном клубе. Еще я сообщила, что в обозримом будущем нас ждет развод – этой формулировки избежать не удалось, хотя я и понимала, что предстоящие события необозримы, – и с ним свяжется мой адвокат. Еще я написала, что уезжаю с Михаэлем, он имел право знать хотя бы это, но не стала рассказывать, насколько долго длятся наши отношения – не так уж долго они и длились. Пусть не удивляется, что Михаэль тоже уехал из города. И пусть сам решает, объяснять ли мое отсутствие на работе болезнью, когда и кому рассказывать правду и что говорить всем остальным; он может спокойно сказать, что я сошла с ума, или что он давно обо всем догадывался, или что мы много раз обсуждали ситуацию, но меня было просто невозможно остановить. Я долго раздумывала над словами прощания и наконец решила написать «всего хорошего вам троим» – ведь это было мое искреннее пожелание. Черновик письма я разрезала на полоски и спустила в унитаз; потом достала из письменного стола немногие личные вещи – духи, расческу и телефонную книгу, тампоны и запасную блузку. Крем для рук я забирать не стала.

Начальница заправки долго не могла успокоиться. «Только представьте, – говорила она, – стоило мне зайти, как появился полицейский!» Шел девятый час, мы были одни, и она во всех подробностях рассказывала мне о посещении дежурного должностного лица – комиссара, уточнила она с многозначительным видом. «Еще довольно молодой и явно очень тщеславный, он сделает все, чтобы отыскать преступника, но сейчас ему ничего не остается, кроме как проверять все мойки в Л. и ближайших окрестностях. Поверхностно вымытый автомобиль не обманет криминалистическую экспертизу, объяснил он – имея в виду частички кожи, волокна материи и фрагменты почвы, – но, по его предположению, первым импульсом преступника все равно была попытка очистить машину.

«Даже не знаю, – протянула она, – если представить, как все произошло, – убийца либо был настолько хладнокровен, что его никогда не поймают, либо испугался и растерялся, но тогда они бы давно нашли его, будь он из нашего города, верно? А если он вообще не местный, а из Ф. или даже из М., тогда у них вообще нет шансов, во всяком случае, теперь, когда прошло больше недели. Я и сама-то уже не вспомню тот вечер; комиссар сказал, это была среда, но я ведь не знала, что произошло, с чего мне было обращать внимание? У меня много постоянных клиентов, но некоторые могут быть в отпуске или в командировке, а когда кто-нибудь появляется снова, разве обращаешь внимание на дату? Например, вы приезжаете сюда довольно часто, но были ли вы здесь в ту среду, тем более после половины восьмого... Разумеется, есть финансовый отчет того дня, в нем даже указано, сколько раз использовалась мойка. Но кто именно ее использовал, я уже сказать не могу, разве только кто-то расплачивался картой, а тем вечером так платили всего два клиента; конечно, он их быстро найдет, но я вот думаю – если бы я сбила человека и мне бы еще хватило мозгов поехать на мойку, я бы ведь не стала расплачиваться картой, верно?» Мне оставалось только соглашаться с ней и часто кивать; у нее был волнующий день, она наслаждалась рассказом и не откажет себе в удовольствии пересказывать историю хорошим клиентам еще много недель. В Л. происходит не так много событий.

* * *

В тот вечер я заехала на заправку, которая принадлежала еще старику Шустерманну, хотя на месте его не было. Меня обслуживал прыщавый юноша, думаю, сын нашей газетчицы; но он меня не узнал, и мы ни о чем не говорили. Я проехала через мойку, заправила полный бак, купила «Шо-ка-колу», чтобы не заснуть, две бутылки воды, фрукты, сигареты и карту Италии; к тому же заказала себе еще кофе. Я была абсолютно спокойна и мыслила здраво; все шло по плану. Даниэла и Ирми мирно спали наверху, Эрнст лежал, как обычно, свесив руку с кровати и тихонько похрапывая, когда я осторожно встала и спустилась вниз, повесив на руку костюм. На кухне я переоделась, вытащила из сумки письмо для Эрнста и прислонила к

кофе-машине – он уже много лет вставал первым, потому что Ирми стала спать дольше из-за лекарств. Потолочного света не доставало; сейчас, посреди ночи, комната казалась немного убогой. Мы давно обсуждали, что нужно обновить кухню, но Ирми разрушила наши планы, попросив оставить все, как она привыкла. Ее совершенно не привлекали освещение отраженным светом, посудомоечная машина или новая плита, а поскольку она проводила на кухне больше времени, чем все остальные, и по-прежнему для нас готовила, ее мнение стало решающим. Так что кухонные шкафы не менялись с самого начала нашей семейной жизни; угловая скамья стояла примерно с тех же времен, и только стол был приобретением последних лет, из-за моющегося покрытия. Как обычно, посередине стояли солонка и перечница, пластиковая коробочка с заменителем сахара и контейнер с зубочистками, которыми никто никогда не пользовался. В раковине осталась грязная кастрюля из-под слегка подгоревшего гуляша, и я хотела было оттереть ее и отмыть, но передумала; гул водонагревателя мог кого-нибудь разбудить. Вместо этого я убрала чистые стаканы, сложила и повесила над раковиной полотенце и вытряхнула пепельницу – мы пошли спать около одиннадцати, а перед этим играли с Ирми в скат; мы с Эрнстом проиграли и заплатили три марки и восемьдесят четыре пфеннига в игровую кассу – раз в год мы тратили накопленные деньги на совместную поездку; мы пили пиво, и я курила. Теперь пепел остыл, и от окурков неприятно пахло; я выбросила их в мусорное ведро, добавив к остаткам гуляша и стаканчикам от йогурта Даниэлы. Была половина второго; я не засыпала, просто лежала без мыслей в голове и сторожила сон Эрнста, глядя на горящие цифры будильника. Я не хотела дожидаться назначенного времени на кухне. Часы здесь вечно то спешили, то отставали, но Ирми считала, что это неважно, часы нужны на кухне только для уюта – и, возможно, была права. Ободок циферблата украшала голубая роспись; дешевая вещь, вероятно, из пластика, и никто уже не помнил, откуда она у нас появилась. Мне захотелось снять часы со стены и выбросить прочь, но я не стала этого делать; все это больше меня не касалось – обивка на кухонной банкетке, бело-голубая посуда, кофейные чашки, висевшие на крючках над раковиной, таймер в форме курицы и поцарапанное ведро, куда выкидывали остатки еды для компоста. Даже картина с цветами, которую Даниэла

нарисовала на семидесятый день рождения Ирми и которая висела в рамке над угловой скамьей, тоже больше меня не касалась. Но я взяла с вешалки кухонное полотенце и засунула себе в сумочку; выключила свет, прокралась по темному дому, тихо открыла и закрыла за собой входную дверь; мусор я с собой не взяла. В гараже я включила свет и осмотрелась; на открытой полке вдоль стены, среди всякого хлама, еще хранились вещи, которые я привезла из родительского гнезда, но никогда не заносила на порог нашего с Эрнстом и Ирми дома. Я увидела там зеркало, с которым ездила в санаторий; оно было завернуто в бумагу, но виднелся сверкающий кусочек позолоченной рамы. Круглое стекло почти ничего не отражало, оно покрылось пылью и почернело, но рама заблестела снова, когда я стерла указательным пальцем тонкий слой грязи. Я положила зеркало на заднее сиденье и уехала; двери гаража я оставила открытыми, чтобы избежать ненужного шума.

Мы договорились встретиться в три часа, у выезда на автобан в сторону Ф. – там была небольшая парковка. Михаэль должен был взять такси; он жил в центре города, и у отеля «Драй Кайзер» всегда стояли машины. Когда я приехала на место, было только начало третьего; я как могла тянула время на заправке и купила еще газету, но сосредоточиться на чтении не получалось. Я не рассчитывала, что он придет раньше назначенного времени, но все равно наблюдала за фарами немногочисленных машин, проезжающих мимо. Я не боялась; я никогда не была пугливой; просто тяжело сидеть в ожидании почти целый час. Было довольно прохладно, но я опустила оконное стекло, чтобы покурить, и периодически смотрелась в зеркало заднего вида, замечая, как меня постепенно покидает покой. Я еще раз проверила необходимые документы; все было на месте, я даже заранее позаботилась о лирах и взяла буклет отеля, в котором мы забронировали на неделю номер, – он лежал у меня в сумочке рядом со сберегательной книжкой. Я случайно прихватила ключ от дома; надо будет где-нибудь его выкинуть. Я включила стояночный свет, чтобы ему было легче меня найти; возможно, водитель такси не понял, где именно нужно остановиться, когда Михаэль сказал: на маленькую парковку перед автобаном, прямо за большой заправкой. Была только четверть третьего. Я не сомневалась в Михаэле, но понимала – это моя решимость подталкивает нас обоих. В нем была какая-то

податливость, хотя я знала, что он способен действовать самостоятельно и даже руководить; он предпочитал дожидаться подходящего случая, пускать все на самотек, если ничто его не тревожило. Беспокойство Михаэля носило скорее духовный характер; ему было слишком тесно и скучно в Л. и не хватало ярких переживаний. Его впечатлила моя энергия, безудержность, я заразила его уверенностью, что мы еще сможем начать жизнь заново. Последние двадцать лет казались выцветшей географической картой; я узнавала на ней дорогу, по которой постоянно ходила, но остался лишь едва заметный контур; я могла составить список фраз, которые постоянно говорила или слышала: «Спокойной ночи!», или: «Ну как, вкусно?», или: «Даниэла уже легла?», или: «Ты помнишь про именины Ирми?», или: «Поедем на машине или пойдем пешком?», или: «Ты забрала одежду из химчистки?», или: «Где аспирин?», или: «Ты не видела мой ключ?», или: «Кофе закончился?», или: «Ты заперла дверь?», или: «А яйца свежие?», или: «Пожалуй, я еще немного почитаю», или: «Этот шезлонг просто дар божий!», или: «Мы больше никогда так молоды не будем!», или: «У Майер-Брюль всегда лучшие булочки!», или: «Куда опять подевалась программа?», или: «Сорняки не пройдут!», или: «Тебе все же стоит немного похудеть», или: «Мужчинам тут сказать нечего», или: «Позволишь?», или «Поднимем бокалы!», или: «Мне не важно, может, я возьму выходной», или: «Фредди спрашивает, придем ли мы в субботу вечером на гриль», или: «Надеюсь, дождь скоро закончится», или: «Я должна позвонить тете Гизи», или: «В этом году нормального лета не будет», или: «Клиенты осведомлены намного лучше, чем раньше», или: «Дорогая, я очень устал!», или: «Пойдем, Ирми, выпьем еще по бокальчику!», или: «Не знаю, раньше туфли служили дольше», или: «Я же говорила!», или: «Нам разве не надо заправиться?», или: «Еда и питье удерживают душу в теле», или: «Я лучше закрою окно», или: «Морковь полезна для глаз», или: «На три метра против ветра, не считая брызг!», или: «Ты опять была красивее всех!», или: «Но, Эрнст, это же совсем не так!», или: «У Даниэлы мало друзей», или: «Яблоки теперь стали совсем невкусные», или: «Ваше здоровье!», или: «Хорошо, что у нас есть сад!», или: «Пакеты с молоком вечно протекают!», или: «Это пойдет нам на пользу!», или: «Я просто не выношу эту жару», или: «Ты много куришь», или: «Спешка нужна лишь при ловле блох и при

поносе!», или: «Ирми все-таки стареет», или: «Мы пропьем домишко нашей бабки!^[2]», или: «Пальто прослужит еще одну зиму», или: «Калитка опять скрипит», или: «Какой прекрасный сегодня день!», или: «Ты не забыла собачий корм?». В этих словах было мало дурного, много заботы, много благих намерений, много веселья – только не моего, – немного страха, немного гнева и вовсе никаких сюрпризов; эти фразы были словно удары веслом, равномерные, в одном ритме, в одном направлении: а теперь мы поедem на озеро, на озеро, теперь поедem на озеро. Только я больше с ними ехать не собиралась.

До встречи с Михаэлем у меня никогда не возникало желания уйти. Однажды, еще во время свадебного путешествия, я стояла на балконе в горах и подумала: «Ты можешь спрыгнуть». Это был деревянный балкон с парапетом, который доходил мне до талии, на нем висели ящики с геранью, но у меня точно бы получилось, пусть и без особой грации. Мы жили на третьем или четвертом этаже довольно большого отеля, который совершенно справедливо назывался «Альпийский вид»; чудесная панорама на несколько пиков почти три тысячи метров высотой, а далеко внизу, под обрывом, – каменистый ручей; я бы разбилась там, в ледяной воде, и даже ничего не почувствовала; это точно было бы смертельно. Мы с Эрнстом поужинали, а потом посидели в баре с компанией из Рурской области; мы очень развеселились, и я слишком много выпила. Я пошла наверх одна, пообещав Эрнсту, что скоро спущусь обратно; впрочем, его это не тревожило, он был совершенно в своей стихии. Как сильно бы он меня ни любил, ему было сложновато проводить наедине со мной целые дни, с утра до вечера, без друзей и без клуба, без привычного окружения и без Ирми; мы оба не подумали, что такое свадебное путешествие. Мы поехали в Альпы, потому что на море мне было бы слишком жарко, а Эрнст хотел говорить на отдыхе по-немецки. И теперь перед нами раскинулись горы высотой три тысячи метров, зеленые почти до самых вершин, со снежными шапками, но Эрнст не мог подниматься так высоко, а одна я гулять не хотела; поэтому мы все время сидели под зонтиком на террасе отеля, но для игры в скат нас было слишком мало. Вечерами я наряжалась к ужину – возможно, чуть элегантнее, чем следовало, – и вызывала всеобщее восхищение, но поскольку вокруг уже разошелся слух, что у нас свадебное путешествие, к нам за столик никто не подсаживался; люди не хотели

мешать молодоженам. Так что мы съедали по три блюда каждый, дважды в день; после обеда я ходила плавать в открытый бассейн, пока Эрнст спал в номере или читал газету, а потом снова наступало время ужина в ресторане. Спустя неделю Эрнст познакомился с той компанией из Рурской области, веселыми людьми постарше нас, пока я купалась – они сидели на террасе, пили пиво, играли в карты и, разумеется, пригласили незнакомца присоединиться. Когда мы спустились вместе к ужину, раздались бурные приветствия, в итоге я слишком много выпила, и из-за этого мне стало грустно. Когда я, слегка пошатываясь, вышла на балкон, вокруг царила глухая тьма, только внизу блестел ручей. До того момента я успешно запрещала себе думать о Филипе, но теперь меня одолели мысли; он сейчас тоже занят приготовлениями к свадьбе, но поедет не в Альпы, а в Ниццу или в Венецию, и не с одноногим общественником, а с дочерью банкира, которая бегло говорит по-французски и принимает парикмахера прямо у себя в комнате. Я подумала, что могла бы оказаться на месте Лианы Вестерхофф, если бы не была так наивна и не спряталась бы в собственном несчастье, как мышь. Я не верила, что у него были дурные намерения изначально; вспоминала его письма и жалела, что их сожгла, – я бы с удовольствием перечитала их, чтобы убедиться: он оставил меня не по собственной воле; конечно же, ему пришлось жениться на деньгах, чтобы спасти имение от огромных долгов, его точно заставила мать; несомненно, он по-прежнему меня любит. Я представила, как соберу чемодан и исчезну рано утром, вернусь в Л. и просто скажу ему, что еще не совсем поздно; представила его счастливое лицо, ведь это станет нашим спасением. Я вернулась в комнату, принялась вытаскивать из-под кровати пустой чемодан, ударилась головой, села на ковер и вдруг зарыдала; еще никогда я не чувствовала себя такой несчастной: я не могла вернуться, я была совершенно пьяна, но все равно понимала, что уже ничего не сделаешь; теперь мне придется расхлебывать кашу, которую я сама же и заварила, я проведу свою жизнь с Эрнстом, даже если мы больше никогда не поедem в Альпы; я больше никогда не увижу Филипа, и он больше никогда обо мне не услышит – тот раз, когда я дала объявление в «Курьер», был последним. Спотыкаясь, я снова вышла на балкон, прислонилась к ограде с геранями и смотрела вниз, пока не закружилась голова; все продлится лишь секунду, будет выглядеть как

несчастный случай, пусть и с небольшой натяжкой; много храбрости не требовалось, но все же мне ее не хватило. Я пошла в ванную, умылась ледяной водой, немного подкрасилась, очень медленно спустилась вниз и села поближе к Эрнсту, он, разумеется, меня обнял и продолжил рассказывать историю; я прекрасно знала эту историю о его коллеге, который забронировал автобусную поездку в Париж, но по ошибке уехал в Болгарию, – история была почти такой же долгой, как этот вечер, но все же не такой долгой, как наш брак, который, как я думала с тех пор, продлится вечность.

Было только без четверти три, но я уже нервничала. Я начала представлять, как он незаметно уходит из дома. Он рассказывал мне, что Карин часто спит одна, в их комнате, потому что он возвращается домой поздно вечером, а она встает рано утром – из-за детей и по привычке; так дочери пекаря и театрального работнику пришлось выстроить свои будни. Я задалась вопросом, какова была их интимная жизнь; это мы не обсуждали никогда. Сложно было представить, когда у них вообще доходило до этого, ведь в течение дня было неудобно Карин, на выходных в доме были дети, а по ночам они обычно спали раздельно. В свадебное путешествие они не ездили, потому что Карин не хотела никуда ехать из-за довольно большого срока беременности, и, возможно, это стало облегчением для обоих; я не представляла, что можно обсуждать с Карин, кроме ее магазина и семьи; вряд ли она увлекалась акварельной живописью или теннисом, разве только мини-гольфом, но мини-гольфом вряд ли увлекался Михаэль. Их брак был на несколько лет короче, чем наш с Эрнстом, но это ничего не значило; уже через три года все становится одинаково, если идет более-менее хорошо. И все же их брак отличался от нашего; думаю, для Карин Михаэль стал чем-то вроде встроенного шкафа; все, что не вписывалось в ее жизнь, можно было просто убрать, только жизнь уже наступила: дом, магазин и Л., родители, бабушки и дедушки, дети, а позднее – внуки, исключительно практичные, надежные люди, которые воспринимали все, на что не могли повлиять, как погоду. У нас с Михаэлем все только начиналось; я почти ничего не взяла с собой и не ставила никаких целей. Я хладнокровно спланировала эту ночь, но чувствовала себя как девушка на аллее, как женщина в глохнущей машине: я чувствовала себя собой.

Из города донесся колокольный звон. Я решила, что до половины четвертого переживать не стоит; ведь могла случиться любая ерунда, например, перед отелем не было машин, а Л. такой маленький; разумеется, будить никого не станешь, просто дождешься, пока вернется ночное такси; возможно, кто-нибудь поехал в Ф., это может занять больше часа, а заказать поездку заранее Михаэль, конечно, не мог – если бы им позвонили домой и уточнили, действительно ли господину Шеферу нужно подать машину без четверти три ночи к отелю «Драй Кайзер», разразилась бы катастрофа.

Но если мужчина уходит от жены и детей туманной ночью – разве это уже не катастрофа? Я рассказала ему о своем письме, желая подбодрить; но заметила, что немного напугала его, может, даже шокировала; он спросил, почему я не хочу обсудить все с Эрнстом лично. Это бессмысленно, ответила я; ничего уже не изменишь, я только наговорю лишнего и расстрою Эрнста еще сильнее, он захочет узнать подробности, о которых потом уже не сможет забыть; возможно, начнет уговаривать меня остаться, и ему будет еще тяжелее, ведь переубедить меня не получится. Я уже все решила; зачем его мучить, если никакие слова и поступки, ничто в мире не сможет меня вернуть?

Через два дня в газете написали, что у полиции появилась новая версия. «Не исключено, что это было умышленное убийство». По их словам, погибший имел связи с борделями, насколько это возможно в Л. Обстоятельства происшествия – объездная дорога на окраине города, темнота, отсутствие интенсивного движения – вполне допускают, что водитель скрылся с места убийства не случайно. Главным образом об умысле говорит следующая деталь: на погибшего был совершен наезд на большой скорости, следов торможения не обнаружено. Если водитель не находился в состоянии тяжелого опьянения – а подтверждений этому факту нет, напротив, по следам шин можно сказать об уверенном управлении автомобилем, – как можно было задавить пешехода прямо под горящим фонарем? Значит, это было сделано умышленно.

Четверть четвертого. Пепельница переполнилась; я положила в рот мятный леденец, еще раз напудрила нос и тщательно покрасила губы. Закричала сова. Слабо освещенная парковка хорошо просматривалась, но пешком ему в любом случае было идти слишком далеко, тем более с чемоданом. У нас не было времени оговаривать такие детали, но я предполагала, что он, как и я, соберет лишь самое необходимое; возможно, возьмет только маленький чемодан, который на всякий случай держал в бюро. Я не знала, бывал ли он в Венеции – возможно, моя идея показалась ему абсолютно дурацкой, но он тактично промолчал? Но это не могло помешать ему прийти, ведь он мог переубедить меня, и я поехала бы с ним в Хельсинки или в Варшаву. Если бы мы оказались у нас дома, я бы показала ему на глобусе, где уже успела побывать: в М. и Ф., на юге Испании и на Майорке, в Копенгагене (с кегельным клубом) и Будапеште (с кегельным клубом), в Шварцвальде, в Лондоне (с кегельным клубом) и в Праге, и еще в Альпах. Мы постоянно ездили в одни и те же места, потому что Ирми предпочитала знакомую обстановку, Эрнст тоже, а мне было все равно. Даниэла всегда была трудным и молчаливым ребенком; невозможно было понять, что доставляет ей радость, это могла оказаться корова на лугу или Карнаби-стрит, причем чаще всего на Карнаби-стрит ей был нужен луг, и наоборот. Все знакомые мне точки на глобусе находились совсем близко друг от друга, но мне опять же было все равно, потому что мне было все равно почти всегда. Я не знала, какие точки показал бы мне Михаэль, какой бы у него сложился узор. Бывал ли он в Париже? Конечно! В Лондоне, Нью-Йорке, Риме и Вене? Я предполагала, что да; возможно, он доехал и до Австралии, может, путешествовал в молодости по миру. Я представила его в Бельгии, на каком-нибудь маленьком вокзале. Были ли у него усы? Ездил ли он в Индию, куда сейчас стремятся многие студенты, интересовала ли его бедность, переселение душ, опиум? Я о нем почти ничего не знала. Я даже не взяла с собой ни одной собственной фотографии; я хранила их в дубовом сундуке в прихожей, в картонной коробке – в том числе фотографии моей матери в молодости и мои детские снимки; позднее – карточки с помолвки и свадьбы и, наконец, с рождения Даниэлы. Потом добавились семейные моментальные фото, которые задумывались как милые, но получались бездушными: люди с тортом во рту или сосиской в руке, с пятнами солнцезащитного

крема на носу или спящие в тени, моющие машину, меняющие пеленки или пекущие пирог. Иногда – воспоминания о днях рождения или особых поводах, но вовсе не такие тщательные и достойные, как снимки моей мамы: прислонившейся к комоду, в лучшем костюме, на скамейке под виноградной лозой, с моим папой на помолвке, перед церковью и, наконец, на серебряную свадьбу.

И я никак не могла представить – теперь, почти в половине четвертого утра, – как выглядел в детстве Михаэль; возможно, хотя бы он захватит коробку, которая должна быть у каждого человека: с первыми ботиночками и молочными зубами, самыми важными фотографиями, письмами от первой любви, первой сберкнижкой и, возможно, гороскопом. Я многое забыла или потеряла, кое-что уничтожила, но большинство вещей просто недостаточно ценила, чтобы хранить. Последние двадцать лет казались мне лишь жалким подобием жизни, словно прошли без моего участия. Я никогда еще не проводила с мужчиной в постели весь день и всю ночь с единственной целью – разговаривать и любить друг друга. Никогда еще не сидела за кухонным столом с распухшими от поцелуев губами, с бокалом вина в руке и перед тарелкой супа, который не могла есть от переполнявшей меня любви. Никогда не танцевала с мужчиной в гостиную вальс, никогда не парковалась на обочине, чтобы исчезнуть с ним в лесу, никогда еще не покупала летнее платье, чтобы снять его перед возлюбленным в свете солнца, никогда не ездила с мужчиной в спальном вагоне, чтобы пить там вместе шампанское, я никогда еще не показывала мужчине свой дневник, никогда не принимала с мужчиной ванну, никогда не встречала вдвоем с мужчиной Рождество, никогда не была в ночном баре, никогда не ездила вдвоем с мужчиной на море, не лежала голой в траве, никогда еще не засыпала в его объятьях под открытым небом, никогда не писала настоящего любовного письма, никогда не отдавала мужчине все свои деньги, никогда не ездила с любимым мужчиной в метро или на такси, никогда не просила его перевести мне меню, никогда еще не ела с ним креветок, я никого еще не любила и не должна была смотреть на часы. А было уже больше половины четвертого.

Я точно помню, что пронеслось у меня в голове в те секунды, когда все случилось; я увидела всю свою предыдущую жизнь и то, что

ждет меня впереди, я прекрасно осознавала все причины моей ненависти, остроконечной, словно металлический забор; я была собрана и абсолютно разумна; было бы большой ложью утверждать, будто я вышла из себя. Я знала, что делаю, и точно знала почему; я не хотела ничего менять и совершенно не торопилась, хотя у меня было всего несколько секунд. Все произошло неожиданно; да, я мечтала иногда встретить его одиноким и беспомощным, но в действительности все случилось совсем иначе: темнота и дождь, пустынная улица, и я в своей машине на 100 ЛС, и рядом никого, кто бы мог меня удержать. Судьба улыбнулась мне, второго шанса не будет, и у меня было всего несколько секунд.

Я совершенно не помню, как прошло время после половины четвертого, пока я сидела в машине и ждала его. Стояла ясная ночь; я видела в небе несколько звезд, но никак не могла вспомнить их названия, хотя всего лишь пять недель назад мы рассказывали друг другу про Млечный Путь; но он знал немногим больше моего, и мы оба немного бахвалились, когда говорили о Большой и Малой Медведицах, о вечерней звезде и об Орионе. Я включила и выключила фары, потому что уже не помнила, выключены они или включены. Отсчитала по часам две минуты, чтобы успокоить нервы и чем-то себя занять, но была слишком взволнована. Меня немного трясло от холода; я сделала несколько шагов от машины и оцепенела, когда что-то пробежало у меня по ногам; я не была готова к встрече с живой природой. Сразу вспомнился Эдуард Циммерманн, я увидела его круглое лицо, он строго качал головой и медленно, педантично говорил: «Непонятно, что делала женщина в половине четвертого ночи на парковке перед автобаном на выезде из Л.; вероятно, она была одна и вышла из автомобиля, хотя мы и не можем найти этому объяснение». Я села обратно в машину и закрыла окно; включила радио. Ведущий с приятным голосом и своеобразным голландским акцентом все еще ставил – в такое-то время! – песни по заявкам слушателей; видимо, это были в основном дальнбойщики, судя по именам, приветствиям и песням: Роуди передает Бадди привет и песню «В долгом пути», Хельмут передает Бигги привет и песню «Когда я далеко, я думаю о тебе». Я ничего не имею против музыки кантри, но однообразный ритм нагонял уныние. Я бы с удовольствием выпила бокальчик вина,

но это было невозможно; я выкурила несколько сигарет и включила вентиляцию, которая заглушила радио. Примерно в четверть пятого я впервые подумала, что, возможно, он не приедет, и как школьница перепроверила договоренность: время, место, дата, могла ли возникнуть ошибка? Вытащила из сумки календарик и посмотрела на дату, потом вспомнила нашу последнюю встречу. Но фразы расплывались; я видела себя яснее, чем его, слышала свои слова, но не его ответы. Я вспомнила его лицо, как он прижал меня к себе, вспомнила его голос, как он сказал: «Мы сделаем, как ты хочешь», — или он сказал что-то другое? Но когда мы вышли из дома, вместе, и пошли к своим машинам, по-прежнему крепко обнявшись, я прошептала: «В среду, в три часа», а он ответил: «Я буду там», тут никакой ошибки быть не могло. Нет, ошибка невозможна, ведь мы так прижимались друг к другу, ведь он лежал на мне, тяжело дыша, ведь мы сливались воедино в последнюю ночь и во все предыдущие.

Не знаю точно, когда именно я почти сдалась. Я дрожала всем телом; я была скорее разбита, чем расстроена, и скорее разочарована, чем расстроена; я думала, мы друг друга не поняли. Потом я позвоню ему, и выяснится, что ему что-то помешало или он перепутал место встречи; возможно, он сидел на чемодане на другой парковке, совершенно растерянный. Я выехала обратно на улицу и проехала по Л., медленно приблизилась ко второму выезду из города; там не было парковки, и я не увидела никаких стоявших людей, но подумала, что он, наверное, уже вернулся домой; а может, зашел сначала в офис, чтобы занести чемодан. Шел уже шестой час, я каталась в темноте, а потом развернулась и поехала домой — больше мне ничего не оставалось. Нужно было как-то скоротать время до десяти. Тогда он придет в офис, и я смогу позвонить; это разрешалось только в случае крайней необходимости, но сейчас и была самая крайняя необходимость. Мне казалось, что этого момента ждать придется гораздо дольше, чем чего-либо прежде; я просидела три часа одна в темноте, но уже считала минуты до избавления. Я слышала, как он засмеется в трубку и скажет: «Сладкая моя, что ты наделала»; слышала его шепот и нежности; видела, как медленно осяду с трубкой в руке, слышала, как буду себя ругать, и видела, как мы оба будем с улыбкой вспоминать эту ужасную, бессмысленную ночь. Я слышала, как расскажу ему о многочасовом ожидании, и знала, что будет тяжело

умолчать о своих надеждах и фантазиях. А еще знала, что не смогу скрыть от него свои страхи, но мне будет совершенно все равно, потому что все уже окажется позади.

Когда я подъехала к дому, то увидела свет. Еще и полшестого не было, никто так рано не вставал. Возможно, Ирми не могла заснуть, так иногда бывало, из-за давления; тогда она сидела на кухне, пила чай с шиповником, читала телепрограмму или вязала. Она не тронет письмо, как и Даниэла, но та всегда спала сном подростка, глубоким и беззаботным. Я осторожно припарковалась в гараже, запихнула в сумку карту Италии и положила пальто на заднее сиденье, на зеркало. Багаж я оставила в машине. Пахло машинным маслом и немного железом, и было еще почти совсем темно, когда я сделала несколько шагов до двери. Медленно повернула ключ в замке, вдруг почувствовала ужасную усталость и сказала себе – ну, теперь держись, впереди еще почти двадцать часов; и порадовалась, что не оставила на работе никакую записку. Это молчаливое расставание можно было продлить, нужно только продержаться до десяти утра, и никто ничего не заметит. Ирми ничего объяснять не придется, она никогда не задает мне вопросов, на которые не хочется отвечать; все будет совсем просто. Я повесила в коридоре куртку и тихо открыла дверь в кухню, но на скамье сидел Эрнст.

Я удивилась, но шока не испытала и подумала: «Ты меня не испугаешь». Он стоял прямо передо мной и был выше на две головы, а ведь я сама не самого маленького роста. Он смотрел пристально – не испытующе, а внимательно, – возможно, по привычке. Еще прежде, чем он успел представиться, я поняла, кто он такой; пригласила его войти и предложила кофе, который он пил с молоком и сахаром, это запомнилось мне, потому что показалось слишком калорийным для такого стройного человека. Он был немного смущен, а я даже не собиралась ему помогать; я ждала и пыталась скрыть враждебность и неуверенность; я ведь не могла знать, чего он хотел. Через полминуты молчания он заговорил сразу о деле; я точно должна была о нем читать или слышать. «Читала, – ответила я, – такое сложно пропустить, в газете пишут почти каждый день». Значит, вы точно, – сказал он, беспокойно оглядывая комнату, блуждая светлыми глазами по вышитой картине Ирми над диваном, местному пейзажу, написанному

маслом, портретам моих родителей и фотографии с двадцатилетия кегельного клуба, – значит, вы точно читали о наших предположениях по поводу связей погибшего с проституцией». – «Читала, – ответила я и не смогла сдержать улыбки: – И что, они приводят ко мне?» – «В некотором смысле, – ответил он, внимательно посмотрел в окно и повернулся ко мне. – Я предполагаю, что мои слова удивят вас и даже шокируют, но больше мне ничего не остается; этого не избежать».

Он прочитал письмо. Я смотрела, как он сидел, немного согнувшись, согнувшись и оцепенев, а перед ним лежал сложенный лист бумаги и открытый конверт. Когда он поднял на меня взгляд, совершенно растерянный, отстраненный от боли и разочарования, мне пришло в голову выдать все это за помешательство, каприз, чуть более экстравагантный, чем обычно, внезапную ночную автопрогулку, гормональное расстройство, нечто абсурдное, что может уладиться уже в утренних сумерках. Фантазия у него была небогатая – возможно, ее не было вообще, – но он знал, что бывает правда, которая живет всего несколько часов, которая способна существовать лишь ночью, а при свете дня мы не только раскаиваемся, но и перестаем понимать ее, потому что были пьяны или потому что разругались вдрызг, ведь это всегда происходит посреди ночи, когда натянуты нервы, выпито слишком много алкоголя, после дня рождения или большого праздника, который прошел не настолько весело, как планировалось; наконец, кто-то должен устало сказать – «просто пойдем спать», а утром человек осматривается и не может даже вспомнить того, что казалось таким важным еще несколько часов назад, из-за чего он гневно ругался полночи. Это могло стать выходом из положения, он бы наполовину поверил мне, а наполовину – захотел бы поверить; мне следовало сказать – «Давай вернемся в кровать, я все объясню». Я могла спасти ситуацию, но этого не сделала. В момент, когда я опустилась рядом, словно на крупных переговорах, взяла стакан воды из-под крана и молча посмотрела на мужа, в тот момент я упустила шанс отогнать катастрофу. Я этого не сделала; он спросил, почему я вернулась, и я ответила: он не пришел. Я не пыталась солгать, потому что не чувствовала в этом необходимости; мне бы хватило сил и самообладания что-нибудь сочинить, но я подумала: с чего бы. Он тяжело вздохнул; я видела, он пытался понять, что это значит,

спросить не решался. «Я потом позвоню ему, – сказала я, – мы просто разминутись; это ничего не меняет». Я дрожала, пока говорила эти слова, и сомневалась, хочу ли сама в них верить, но знала, что история с Михаэлем для меня гораздо, бесконечно важнее этого изможденного мужчины на скамейке в кухне, и не хотела ничего менять. Еще я не хотела, чтобы он заметил мой страх, постепенно перерастающий в панику; это его совсем не касается; я сказала себе: «Продержись еще несколько часов, и все будет позади, не сдавайся». Но это не помогало. «Хочешь сказать, – уточнил он, – что ты хотела сбежать с человеком, а он все перепутал и пропустил встречу?» Оставив письмо с порванным конвертом, он тяжелыми шагами направился вверх по лестнице; я осталась на месте. Потом сожгла в раковине письмо, включила кофемашину и сидела за кухонным столом, пока по лестнице не спустилась Ирми.

До десяти было еще несколько долгих часов, но я точно знаю, как они прошли, потому что была постоянно занята. Я пошла наверх, приняла душ, оделась и привела себя в порядок; ночь не прошла бесследно, и хотя бы собственное отражение должно было меня поддерживать. Я позавтракала с Ирми и Даниэлой и пожаловалась, что плохо спала и чувствую себя ужасно уставшей; Эрнст зашел на десять минут, выпил кофе и вышел из дома; наверное, Ирми подумала, что ночью разразился скандал, и была недалеко от истины. Поездка до офиса прошла как обычно, только при каждой возможности я поглядывала на часы и постоянно высчитывала, когда можно будет ему позвонить; можно начинать попытки с девяти часов, а с десяти он точно будет на месте. Видимо, выглядела я все-таки странно, потому что госпожа Восс внимательно посмотрела на меня, когда я забирала почту; она спросила, хорошо ли я себя чувствую, и я ответила ей то же самое, что и Ирми; закрыла за собой дверь и села за письменный стол; часы лежали рядом с телефоном. Я вскрыла все конверты и управлялась со всеми письменными делами; звонить кому-то я боялась, потому что у меня дрожал голос. Заставила себя оторваться от сигарет, заставила себя выпить стакан воды и заставила себя еще раз сходить в туалет, прежде чем сделать первый звонок; я отвоевывала эти минуты, как марафонец последние двести метров. Трубку сняла его секретарша и сразу сказала, что он еще не пришел; я спросила, когда можно попробовать позвонить снова, и она уточнила, по какому я делу. Я

была не готова к этому глупейшему из вопросов; сказала, что перезвоню, и пришлось дожидаться десяти. Я протянула до девяти сорока пяти, и сцена повторилась; потом подождала еще полчаса, и она опять спросила, по какому делу мне нужен Михаэль. «По личному», – беспомощно ответила я. «Сожалею, – сказала она, – господин Шефер на конференции, но я могу ему что-нибудь передать». «Попросите его перезвонить мне», – сказала я, оставила свое имя и рабочий номер; во мне закипала ярость из-за его пренебрежения; прошлой ночью мы хотели начать новую жизнь, а сегодня я вынуждена попрошайничать у его секретарши. Я поставила перед собой задачу продержаться до обеда; и мне это удалось, и я снова услышала в телефоне голос госпожи Калькенбрук, которая сказала, что передала сообщение, но господин Шефер заходил в офис лишь ненадолго и теперь поехал обедать в ресторан. Я попросила ее добавить еще одну записку, что это срочно и что я буду доступна до шести вечера; она пообещала, и ее голос звучал почти мягко; конечно, она ничего не знала, но, возможно, ее тронул мой тон, который звучал уже умоляюще; возможно, она подумала, что мне нужна субсидия для частного театра или балетной труппы. Я не отходила далеко от стола, а когда приходилось ненадолго покидать кабинет, то снимала трубку, чтобы звучали гудки «занято». И время как-то прошло; казалось, во мне поднимается что-то темное, могущественное, словно та дрожь, на которую я не могла повлиять. Я снова и снова продумывала все подробности и позвонила туда еще раз, в секунду паники, когда мне вдруг пришло в голову, что госпожа Калькенбрук, та молодая блондинка с нашего первого бала, влюблена в Михаэля и просто скрывает все личные звонки; но меня она никогда не видела; и ее голос был дружелюбным и даже сочувственным, когда она сказала: «Я напомнила ему еще раз». Меня словно объявили вне закона, я больше не могла ни думать, ни заниматься бумагами и испытывала бесконечное облегчение, что на тот день не было назначено совещаний и неотложных дел; и это облегчение было единственным, что я чувствовала в своем оцепенении, постепенно переходящем в усталость. Я стала собираться, но едва двигалась, все конечности казались ужасно тяжелыми; я не могла найти расческу и механически выдвигала все ящики, пока не вспомнила, что двадцать четыре часа назад убрала ее в сумку, вместе с духами, блузкой и всеми остальными вещами, кроме крема для рук. Я не могла поверить, что

это происходило со мной, хотя четко помнила, как я, в красном костюме, безумно влюбленная и совершенно невозмутимая, освобождала свой письменный стол. «Это было только вчера вечером», – пробормотала я полупшепотом, но вернуть уже ничего нельзя; я не стану снова собирать сумку. «Все кончено», – написала я на бумажке, но даже это не вызвало никаких чувств; я подумала, что разумно было бы по крайней мере заплакать. Но испытывала лишь бесконечную усталость, будто не спала целую неделю, и все фантазии, занимавшие меня в течение дня – поехать к нему на работу, прийти к нему под дверь, позвонить его жене, ждать с чемоданом возле его дома, – все эти фантазии просто рассеялись. От меня ничего не осталось, даже голода или жажды, даже потребности покурить, вообще ничего не осталось, кроме усталости, – даже страха перед Эрнстом и собственным домом, даже беспокойства о будущем. Я посмотрела в зеркало возле двери кабинета и увидела пустое лицо. Я оставила пальто в машине, но не замерзла, пока шла по парковке. Я даже забыла свои часы. Очень медленно я поехала домой, механически, но аккуратно: я дожидалась зеленого на каждом светофоре; рычаг передач дважды выскальзывал у меня из рук, потому что сил больше не было. Магазины уже закрывались, моросил легкий дождь; у филиала булочной Фюльманна молодая девушка подметала в полутьме перед дверью; все шло своим чередом, ее начальница сегодня будет ужинать в обществе мужа, а я возвращалась к своей семье; и мне было совсем неплохо. Путь домой был неблизок, но мог оказаться и в тысячу раз длиннее; это ничего бы не изменило, буря у меня внутри улеглась, не осталось ни мольбы, ни надежды, я не злилась и не грустила; я стала ничем, просто покинутой женщиной, которая едет домой. У меня даже не было собственной кровати, но это точно как-нибудь решится; возможно, Эрнст позаботился обо всем заранее и подготовил мне диван в так называемом кабинете, где хранились наши бумаги, маленькой комнатке на первом этаже с видом на улицу. А может, мы будем спать в супружеской кровати, как и последние двадцать лет, вне зависимости от обстоятельств.

Разумеется, сначала я принялась разыгрывать дуру. Заставила его немного подождать, а потом изумленно, но без смущения спросила, что все это значит. «Дело в вашей дочери, – ответил он. – На

определенном этапе расследования мы поняли, что не можем исключить вероятности простого несчастного случая с бегством водителя, но рассматриваем и версию убийства с мотивом». Я сделала вид, что не понимаю его. «Мы думаем, – объяснил он, – что кто-то мог задавить мужчину умышленно». – «Вы имеете в виду, кто-то, кто его знал?». «Да, – ответил он, – именно». – «Хорошо, я поняла, – ответила я, – но при чем тут Даниэла?»

Три недели спустя мы увиделись снова, на крупном мероприятии для клубов всего города. Эрнст должен был говорить речь, к которой готовился еще с лета; я несколько раз перечитала черновик и вычеркнула самые худшие шутки еще задолго до того вечера. Для Эрнста это было большим событием. Специально для мероприятия он купил новый темный костюм, и я знала, что пощады не будет; мне придется идти с ним, пусть и только ради того, чтобы опровергнуть слухи, которых никогда не было. Мы вели себя так сдержанно, что никто ничего не знал и не заподозрил, но Эрнсту было все равно; я должна была находиться рядом – впрочем, это меня не слишком терзало. Я сохраняла хладнокровие и начала дрожать, только когда заметила в другом конце зала его; он должен был говорить приветственное слово, и, возможно, встречи было не избежать. Так и получилось, самым элементарным образом: я пошла мимо столиков в фойе, к туалетам, и наткнулась на него в компании какого-то незнакомого мне мужчины. Не отрываясь от разговора, он посмотрел на меня и приветственно кивнул – так здороваются со знакомыми, чьих имен не помнят. Уже в туалете я пожалела, что никогда не умела вызывать рвоту, потому что в горле, в груди, глубоко внутри что-то давило, невыносимо. Я бы никогда не поверила, что двое некогда влюбленных людей могут вот так просто пройти мимо друг друга, но теперь это меня не удивляло; жизнь шла своим чередом, пусть и не всегда понятным. Когда я вернулась за наш столик, Сабина обратила мое внимание, что сегодня он пришел с женой, и отметила: они прекрасно смотрятся вместе! И хотя я не задавала никаких вопросов, Сабина решила выложить все, что знает; что эта Карин прекрасно осведомлена о его интрижках, но ей хватает благоразумия не закатывать сцен. У них была общая подруга, и Карин говорила той откровенно: раздувать скандал было бы просто глупо; такова природа

мужчин; он был хорошим отцом и хорошим мужем, а лет через десять это в любом случае закончится. «Должна признаться, – продолжила Сабина, – я бы так не смогла, но вообще это достойно восхищения, ведь она права. Конечно, можно устроить скандал, но что она получит? Только домашнюю войну, а если они расстанутся, ей точно не найти никого лучше. И он ценит ее по достоинству – четырнадцать филиалов, спокойная как удав, двое очаровательных деток и жизнь без всяких забот; он был бы глупцом, если бы довел до крайности!» Я ничего не ответила; эмоций не осталось. Осталось лишь тело, оно разговаривало, мылось и одевалось, рабочее тело, у которого было имя; я стала собственным владельцем, кормила себя и укладывала спать, а потом поднимала вновь.

Эрнст меня не простил. Да и почему он должен был это сделать, если я не собиралась каяться. Я достигла самого дна, дошла до края, перестала быть собой и опустилась так низко, что даже не могла уже сказать: мне очень жаль, что так получилось. Эрнст приходил домой и видел жену, совершенно раздавленную из-за другого мужчины: с чего ему было меня прощать? Я была не в состоянии вычеркнуть Михаэля из своей жизни, и Филипа я вычеркнуть тоже не смогла, хоть и узнала об этом с большим опозданием. Я могла представить жизнь без Даниэлы, без Эрнста и даже без Ирми, но не могла представить жизни без Филипа или без Михаэля; так получилось, этого не изменить; мне бы пришлось лгать, а на ложь не хватало сил. Я избегала возможных встреч с Михаэлем, на это моего разума еще хватало, да и видеть его я больше не хотела; не хотела, чтобы меня снова проигнорировали. По ночам я лежала рядом с Эрнстом и снова ждала Михаэля в своем «Ауди», набивала окурками пепельницу и считала минуты до момента, когда он не придет. Эрнст забрал из машины мое зеркало; больше я его не видела, и где оно, спрашивать не стала. Возможно, Эрнст принял его за подарок Михаэля. Даниэла и Ирми пытались нас помирить и обращались со мной как с больной, но и Эрнст наслаждался особой заботой; в доме царило растерянное милосердие, постоянно напоминавшее: что-то сломалось. Я не знала, страдал ли Эрнст, но радовалась, что не сообщила ему подробностей; это облегчило жизнь нам обоим, хотя «нас» уже не существовало. Как и раньше, я завтракала каждое утро с Ирми, Эрнстом и Даниэлой, брала молоко для кофе и джем для булочек, слушала сообщения о пробках и

приезжала вовремя на работу. По вечерам мы по-прежнему ели вместе, только думать мне теперь было не о чем, и поэтому иногда я выпивала слишком много. Эрнст обращался со мной с язвительным снисхождением; ни в чем не упрекал, но смотрел как на врага, то и дело находя возможность мимоходом унизить. Оставлял нижнее белье прямо на полу, и мне приходилось собирать его, чтобы опередить Ирми; рыгал в моем присутствии и отстегивал свой протез, когда я уже ложилась на свою половину кровати. Он больше не спрашивал, устала ли я, а шел в постель один и читал, сколько хотелось, по несколько газет за вечер; иногда я находила под кроватью эротические журналы и убирала их, чтобы Ирми не заметила. Когда он хотел пива, то говорил приказным тоном: «Принеси мне еще бутылку», – и то, что прежде было обычной любезностью, превратилось теперь в рабскую службу. Однажды утром я нашла в мусорном ведре белье, которое покупала в последние месяцы; на него опорожнили кофейный фильтр и пепельницу, а посередине лежали два огрызка. Я совсем не разозлилась, даже наоборот, испытала некое облегчение, но задалась вопросом – когда все это закончится? На людях его поведение почти не изменилось, он помогал надевать пальто и придерживал дверь; казалось, никто ничего не замечает, только я вижу его пристальный взгляд, только я вижу, как он считает выпитые мною бокалы, и только я боюсь поездки домой, когда он будет молча сидеть рядом и терзать рычаг передач. Даниэла, которая выросла даже быстрее, чем я опасалась, почувствовала изменения в расстановке сил и теперь спрашивала обо всем только у Эрнста. Она ходила вечерами на дискотеку в место с дурной славой, но Эрнст никогда ничего ей не запрещал, а если я выражала опасения, он смотрел на меня как на животное, необъяснимым образом обретшее речь. Он снова рассказывал анекдоты, которые я давно ему запретила, позорил себя непристойными или просто глупыми историями и наслаждался хохотом окружающих его людей. Он менялся в лице и порой делал замечания, от которых захватывало дух не только у меня; в нем было что-то презренное, отталкивающее, как кожная болезнь. Но его любили и ждали просто потому, что он развлекал всю компанию и рассказывал истории, которые веселили и шокировали одновременно. Он обнимал меня, когда мы были на людях, а иногда его рука опускалась ниже и ложилась на мою грудь, и мне приходилось

отодвигать ее или просто вставать и уходить, чтобы не стать посмешищем. В такие вечера я знала, что меня ждет, – выражаясь его словами, я снова буду отдавать супружеский долг; защищаться у меня не было сил, да и причин на это не было: пока я жила с ним в одном доме, пока мы были мужем и женой, пока он меня не выгнал, я действительно была перед ним в долгу. Мы никогда это не обсуждали, я отодвигалась от него, как только он поворачивался на бок, и он ко мне тоже больше не прикасался. Но это не успокаивало его; ничто не могло его успокоить, возможно, лишь время; других идей у меня не было. Иногда я подумывала переехать одна в другой город, но это были лишь мимолетные размышления, и за ними ничего не следовало, даже поисков работы. Я лежала и пялилась на часы; иногда вспоминала наше свадебное путешествие, и порой мне хотелось узнать, что запомнилось ему; возможно, веселый вечер в баре с компанией из Рурской области, а возможно – наша первая, довольно непростая ночь с протезом и моей неопытностью. Но я так его и не спросила.

Он долго молчал, и наконец я спросила еще раз: «Как это связано с моей дочерью?» – «Нам удалось выяснить, – ответил он, – что ваша дочь была хорошо знакома с умершим. Мы изучали профессиональную и личную жизнь господина Вильродта, чтобы выявить возможные мотивы преступления». – «Но чем может помочь Даниэла?» – по-прежнему спокойно спросила я. «Ваша дочь и господин Вильродт, – ответил он, – были близко знакомы. Очень близко». – «Я бы об этом знала, – уверенно ответила я. – Конечно, я не отслеживаю жизнь дочери ежечасно, но вполне осведомлена о круге ее общения». – «Ваша дочь еще несовершеннолетняя?» – спросил он. «Через месяц, – ответила я. – Но это не изменит того факта, что я ее мать, что она живет в этом доме и ходит в школу». – «Она, – деловым тоном сообщил следователь, – неоднократно виделась с господином Вильродтом, по вечерам и в утренние часы». – «Даниэла часто поздно приходит домой, – признала я и изобразила легкое замешательство, – она очень любит танцевать». – «Она ходила к господину Вильродту домой, – твердо заявил он, – его служащие сказали, что у них были отношения. Это ваша дочь?» – спросил он и подошел к стене, где висела фотография с прошлого лета – Даниэла в бикини на берегу

Гран-Канарии; она подарила снимок Эрнсту на день рождения. «Да, она», – ответила я, изображая растерянность. «Сомнений тут быть не может, – заявил он, глядя мимо меня в пустоту. – Мы нашли в квартире погибшего несколько снимков с вашей дочерью. Речь идет, – он сделал короткую паузу, – о фотографиях в стиле ню». – «Я вам не верю, – дрожащим голосом возразила я, – даже не могу такого представить». – «Я оставлю вам конверт, – осторожно ответил он, – если захотите, можете посмотреть сами. Ваша дочь еще в школьной поездке?» – «Да, – ответила я, – до среды». – «Значит, это вам тоже уже известно. Я бы очень хотел с ней поговорить, – сказал он и дал мне визитку. – Пожалуйста, передайте ей, чтобы зашла ко мне в президиум». – «Но все же не понимаю, – повторила я, когда он уже встал, – чем вам может помочь ребенок?» – «Возможно, ваша дочь сообщит нам полезные сведения, которые мы больше не сможем получить ни от кого. Мы должны все выяснить. Расследования в этой среде проводить тяжело, потому что почти всем есть что скрывать». «Моей дочери тоже было бы что скрывать, – подумала я, – но теперь она может не утруждаться. Об этом позаботилась ее мама».

* * *

Я ковыляла дальше. Я никогда не пыталась просить у Эрнста прощения, и он меня так и не простил. Но изображать презрение ему становилось все труднее; он продолжал иногда разбрасывать вещи, делал порой злобные замечания, но природное добродушие брало верх, характер у Эрнста был сильнее воли. Для ревности причин больше не возникало, это он знал, и ему не доставляло никакого удовольствия завтракать, ложиться в постель, спать и отдыхать с ощущением несчастья. Наедине нам по-прежнему было непросто, но одни мы почти не бывали, хотя Даниэла рано уходила по своим делам. Она часто спускалась к завтраку уже накрашенная, носила очень короткие юбки и узкие, маленькие кофты, но я не знала, как к этому относиться. Я не могла поверить, что девочка-подросток уже прекрасно понимает, как на подобные вещи реагируют мужчины; периодически я натыкалась в детских тетрадках, которые она прятала в шкафу с одеждой, статьи о поцелуях с языком, предохранении и

«первой большой любви», наивные и грубые одновременно; и пыталась вспомнить, чем увлекалась в ее возрасте. Когда я заговорила об этом с Ренатой, та рассмеялась мне в лицо. «Мы были невинными созданиями, – убежденно сказала она, – по сравнению с современными девочками». Ее дочь жила после развода родителей в интернате и приезжала домой только на каникулы. «Тебе это может показаться невероятным, – продолжила она, – но наши девочки больше не дети; они попробовали гораздо больше, чем в свое время мы, и благодаря этому чувствуют себя гораздо увереннее. О них беспокоиться нечего!» Ее смех прогнал почти все мои опасения, а с оставшимися я справилась сама. Когда я пыталась поговорить с Даниэлой, она просто угрюмо на меня смотрела; возможно, она чувствовала такую же беспомощность, но самое большее, что мне удалось от нее получить, – заверение, что она уже в состоянии позаботиться о себе самостоятельно. Я задалась вопросом, что это может значить в устах девочки ее возраста, но спрашивать не стала, потому что боялась ответа. Иногда она приводила домой подруг, и их посещения меня успокаивали; они все носили узкие штаны и джемперы, пользовались тушью и тенями для век, и когда я проходила мимо комнаты Даниэлы, то слышала обсуждения логарифмов, английских слов и «очень милого мальчика из 10-го «Б»; это были дети, которые хотели походить на своих поп-кумиров. В конце концов, я знала, что мой авторитет утрачен. Однажды, когда Даниэла встала ночью, она встретила меня на кухне, наедине с бутылкой вина и едва способную связать пару слов. Она слышала, как Ирми и Эрнст обсуждают мою тягу к спиртному – Ирми всегда с беспокойством, а Эрнст сначала враждебно, но потом с осознанием собственной «ответственности». Когда я начала посещать доктора Лемкуля, то стала контролировать себя немного лучше – особенно перед лицом угрозы госпитализации. Вечера без алкоголя я не могла представить вообще; я вводила себя в состояние приятного помутнения, практически незаметного окружающим, и поддерживала его до того момента, как валилась в постель. Мне больше не приходилось бояться, что я стану грубой или приду в отчаяние; только после второй бутылки меня иногда посещало желание позвонить Михаэлю домой, и однажды я это сделала. Я не ждала ничего конкретного и не хотела ничего говорить; только помешать им, показать, что я еще здесь, и, возможно,

услышать его голос. Но мне не повезло, после долгих гудков к телефону подошла она, и я сразу бросила трубку – у меня колотилось сердце, и я чувствовала какую-то глупую гордость, словно выдержала испытание на мужество. Я представила, как она устроит ему разборку прямо посреди ночи, потому что ее догадки точно будут верны – не обязательно насчет меня, но, возможно, насчет другой, или следующей, или следующей, – я надеялась, что это прервет его сон, с ухмылкой наполняя себе еще один бокал.

В этот период Рената была моей единственной поддержкой. Она рассказывала мне о двух предыдущих мужьях: от каждого расставания она явно выигрывала – она умела их очаровательно копировать, и ее жизнерадостность заражала даже меня. Я тоже ей многое рассказывала, и некоторые темы мне даже удалось закрыть; просто потому, что я смогла облечь их в слова. Эрнст виделся с ней неохотно; как и у большинства любителей анекдотов, у него начисто отсутствовало чувство юмора, и смех Ренаты его сердил. Она очень заботилась о своей внешности, но не придавала никакого значения хорошим манерам. Рената уже ничего не боялась, только хотела найти мужчину, и поэтому я составляла ей компанию в пивных и барах, куда даме не следовало ходить одной. В Л. было не слишком много возможностей, поэтому иногда мы ездили в Ф., в местный клуб для «одиноких сердец», с настольными телефонами и хрустальным шаром над танцполом. В такие вечера я оставалась трезвой – главным образом из-за долгой обратной поездки, – и поэтому Эрнст не мог сказать, что Рената склоняет меня к выпивке, а обо всем остальном он не знал. Я говорила ему, что хожу к Ренате в гости, и ему не приходило в голову за мной шпионить; наоборот, он был рад, что она не приходит к нам. В Л. было всего два подходящих бара, в двух лучших отелях, и я была уверена, что не встречу там знакомых. В «Драй Кайзерн» мы сначала садились на высокие стулья у стойки, но в узких юбках это было слишком неудобно, и позднее мы переместились в угол – из глубоких кресел удавалось осматривать все заведение, оставаясь в тени. Когда Рената замечала кого-нибудь интересного, она всегда находила способ завязать разговор; она никогда не стеснялась попросить сигарету, ей было плевать на приличия. «Я рассказываю ему, что пытаюсь бросить, – говорила она, – и сразу появляется тема для разговора, и ему приятно, что он выручил меня из беды». Потом

мы сидели втроем, я слушала истории о командировках и ресторанах с тремя звездами, о зимнем спорте, сортах виски и Мексике или США, только о женах и детях всегда умалчивали. Когда я считала кандидата не подлежащим обсуждению, то тоже просила у него сигарету; остальное было делом Ренаты. «У меня хорошее чутье, – говорила она, – но у тебя, так сказать, отсутствует интерес, и поэтому ты объективнее. К тому же ты больше боишься разочарований, а это всегда повышает проницательность». Если я просила сигарету и она сомневалась тоже, вечер заканчивался, но иногда она игнорировала намеки и оставалась сидеть до моего ухода. Тогда я ехала домой одна и представляла, как развивается история; это было особенно увлекательно благодаря тому факту, что на следующий день я узнавала правду. Рената была безжалостна в своей откровенности, в том числе и к себе, и поэтому я слушала о бестактных замечаниях, прерванных постельных сценах, импотенции из-за алкоголя, уходах в три часа ночи и такси за десятку. Бывали и удачные ночи, но ничего долгосрочного никогда не получалось – до того вечера, который стал судьбоносным и для меня.

Дело было в «Драй Кайзерн», мы сидели в своем углу и наблюдали за баром. Внимание Ренаты привлек полный усатый мужчина лет пятидесяти, и он понравился даже мне. От него исходило какое-то спокойствие, он казался серьезным и, похоже, чувствовал себя слегка неуютно. Он не курил, так что вариант с сигаретой не подходил. Мы попытались придумать другую стратегию, но чем мудренее становился план, тем меньше он мне нравился. «Этот типаж не потерпит уловок, – сказала я, – ты только сделаешь из себя посмешище». «Тогда я скажу ему правду», – наконец решила она, встала и направилась к незнакомцу. Они обменялись несколькими фразами, а потом вместе вернулись. «Вашей подруге, – сказал он, протянув мне руку и представившись, – показалось, что я выгляжу одиноко, и она была полностью права». Он оказался риелтором из М., который осматривал в нашем городе большой объект; переговоры прошли неудачно, и он коротал вечер, чтобы уехать следующим утром. «Вместо заполнения договора я наполняю желудок коньяком, – пошутил он, – но, разумеется, предпочту выпить бокал вина в вашей компании».

Он был первым мужчиной, который сразу заговорил о жене – хоть и был с ней разведен, – и этим мне сразу очень понравился. Чутье не обмануло Ренату, он был одинок и немного расстроен и оценил темпераментный, душевный поступок моей подруги, пригласившей его за наш столик. Мы прекрасно проводили время, пока дверь не открылась – была уже почти полночь – и не вошла моя дочь.

На ней было платье, которого я раньше не видела, – видимо, она его у кого-то одолжила или от меня прятала. Украшенное блестками и со смехотворно глубоким вырезом – особенно если учесть, что у нее почти не было груди. А еще туфли на очень высоком каблуке и черные прозрачные чулки. В ее мускулистом спутнике чувствовалась брутальная привлекательность. Высокий, широкоплечий и загорелый, словно только что с Ибицы или из солярия. Сомнительный тип, в узковатом костюме, с волосами средней длины, которые падали ему на воротник; искусственный свет бара подсвечивал его белую рубашку и подчеркивал крупные зубы, когда он смеялся. Он приобнял Даниэлу и повел ее к бару, где они сели к нам спиной. Я увидела, что вскоре перед ним поставили коктейль, а перед ней бокал шампанского; они чокнулись, и он положил руку ей на бедро, чуть сдвинув вверх платье. Жест заставил меня содрогнуться, он выглядел совершенно привычным и абсолютно равнодушным; то, что рука была ухоженной, с длинными пальцами, лишь еще больше портило впечатление. Мужчина носил кольцо с камнем, заметным даже с моего места; он убрал руку с ее бедра, чтобы запустить пальцы в волосы у нее на затылке; немного потряс ее головой, словно она была животным, а ей, похоже, это понравилось – она улыбнулась и закрыла глаза. Я даже не испугалась, что она может меня заметить; меня охватили ужас и отвращение, ведь сомнений быть не могло. Это моя дочь сидела ночью в баре отеля, в крошечной тряпице вместо платья, с мужчиной, который обращался с ней как сутенер, и, очевидно, чувствовала себя прекрасно. Она положила руки на стойку и принялась крутить в руках зажигалку, пока он что-то шептал ей на ухо. Потом рассмеялась, снова отпила из бокала, чуть одернула платье и подняла руку обратно. Рената заметила мое оцепенение, но не поняла причины; она не видела, как они заходили. Я сказала, что вспомнила вдруг о неприятном деле, которое ждет меня завтра на работе; ей даже в голову брать не стоит. Ничто в мире не могло заставить меня подняться; я хотела видеть, что

будет дальше, собственными глазами видеть то, во что не могла поверить. Мужчина принялся поигрывать золотой цепочкой Даниэлы – подарком Ирми на шестнадцатый день рождения, – а потом намотал ее на палец, чтобы управлять шеей девушки. Она изобразила сопротивление, но охотно сдалась и наконец облизала его указательный палец; тогда он отпустил цепочку и снова положил руку ей на бедро. Бармен делал вид, что очень занят чем-то другим, а гостям было не до них; казалось, за парой никто не наблюдает, впрочем, их поведение не слишком бросалось в глаза. У меня возникло чувство, что мужчина контролировал ситуацию; не заходил слишком далеко, чтобы не спровоцировать возмущение, но буквально балансировал на краю. Жадно и небрежно одновременно, он несколько раз затянулся сигаретой и бросил ее в пепельницу, где она продолжала дымить, пока ее не убрал бармен. Он поскреб ботинками по ножкам барного стула и погладил Даниэлу по спине; она опустила голову и сидела, не двигаясь, прижимая голые локти к узкой талии. Она выпила еще бокал шампанского, совершенно не беспокоясь о том, что я прекрасно видела и узнавала ее черты – в зеркале и иногда в профиль. Пока мужчина расплачивался, она залезла в сумочку и подкрасила губы, а потом оба ушли; она покачивалась на высоких каблуках, он приобнял ее за талию, портье открыл перед ними дверь, и я услышала снаружи звук мотора; определенно, вечер для этой парочки еще не закончился.

* * *

Фотографии просто ужасны. На самой невинной Даниэла лежит, раздвинув ноги, на кровати с черным бельем и держит на колене плюшевого мишку. Она улыбается, словно полоумная; пластмассовое кольцо на пальце, золотая цепочка на талии и полное отсутствие одежды. На другом фото она изображает собаку; на ней кожаный ошейник, и она стоит на коленях; ее снимают сзади, но она повернулась к камере лицом и высунула язык. Она запечатлена сзади на многих фотографиях, видны светло-рыжие тонкие волосы, беспорядочно спадающие на плечи; она лежит на черной постели с раздвинутыми и с сомкнутыми ногами; на одном снимке на ее зад сидит плюшевый лягушонок и ухмыляется в камеру. Это

любительские снимки; тени виднеются там, где их быть не должно, и даже кожа этой юной девушки почему-то выглядит неровно, словно не выдерживала сияния вспышки. Фотографии сделаны небрежно, несмотря на все старания с позами и мягкими игрушками; если бы голой была не Даниэла, я бы посчитала их смехотворными, безвкусными, возможно, даже неуклюжими и дешевыми. Но это моя дочь держит игрушку между ног, позирует в ванне с резиновыми утятами на груди и облизывает морду плюшевому медведю. Это моя дочь, Даниэла, которой исполнится через месяц восемнадцать и которой я почти ничем не могу помочь.

Я слышала по утрам, как поворачивается в замке ключ и как она устало поднимается по лестнице; видела тени у нее под глазами, но не знала, что делать. Когда она заговорила о том, что хочет переехать до окончания школы, я отвела ее в свою комнату; я сказала, что знаю про мужчину, с которым она проводит ночи, и если она не хочет потерять бабушку, пусть будет так добра изображать школьницу еще какое-то время. Она не стала спрашивать, откуда я знаю, просто прошла мимо меня в ванную и включила воду, но, судя по ее поведению, угроза подействовала. Я была вне себя от тревоги и горя; у нас никогда не было взаимопонимания, мы вообще, по сути, друг друга не знали, но осознание, что моя дочь Даниэла попала в руки этого сутенера, сводило меня с ума. Я рассказала все Ренате, которая уже была на седьмом небе от счастья и готовилась к переезду в М., и она, не задумываясь, ответила: «Так поговори с ним». Этот вариант действительно показался мне самым разумным. Я не ждала многого, но надеялась на своеобразную очную ставку – женщина из спального квартала и мужчина из преступного мира, которая, возможно, заставит его держаться подальше от ее дочери. Я надеялась, что, если буду вести себя по-мещански, он может потерять к Даниэле интерес; возможно, даже признает, что их «связь» – ошибка, а у Даниэлы другая жизнь и ею двигала лишь подростковая жажда покинуть свой мир – один раз, на пробу. А может, получится его запугать, если достаточно четко донести, что я не собираюсь больше этого терпеть и приму меры. Это все было не слишком оригинально. Но я видела того мужчину. И понимала, что деньги ситуацию изменить не смогут.

Сегодня она вернулась. Она ничего не знала, пока отдыхала в школьном санатории в Тироле; там точно не было никаких немецких газет, тем более из Л., а по телефону за время короткого отъезда она, видимо, не звонила – наверняка связаться с ним, владельцем трех дискотек и двух стриптиз-клубов, было непросто. Я собрала несколько статей о случившемся и оставила у нее в комнате, в закрытой папке, куда положила еще записку. «Дорогая Даниэла, – написала я, – в связи со смертью господина Вильродта комиссар криминальной полиции – прикладываю визитную карточку – просит тебя позвонить в президиум. Надеюсь, ты быстро оправишься от утраты. Твоя любящая М.».».

Я пыталась ему дозвониться. Было легко узнать, по каким значным местам шляется Вильродт, но выйти с ним на связь оказалось непросто. Я несколько раз безуспешно оставляла свой номер; наконец однажды вечером, около десяти, я застала его в баре на Фридрихштрассе. «Я – мать Даниэлы, – напрямик заявила я, – и я очень хочу с вами поговорить».

Он не замешкался ни на секунду; казалось, ситуация доставила ему удовольствие. «Это можно устроить, – ответил он, – хотите приехать ко мне?» Я думала, где хочу встретиться с ним, но о нашем доме, разумеется, не было и речи, появляться с ним в кафе я не хотела, плюс ко всему во мне зародилось своего рода любопытство. Мы договорились на следующий же день, и в шесть часов я в темно-синем костюме со скромным шелковым платком вышла из машины перед его домом.

Это была квартира в доме старой застройки, каких в Л. осталось еще немало, и к тому же на первом этаже: просторная и темная, с длинным коридором, из которого расходилось множество дверей. Он почти полностью заполнил дверной проем, и я едва различала его лицо; мы не стали обмениваться рукопожатиями. Он насмешливо поздоровался низким, прокуренным голосом. И провел меня в комнату, где висели в пластиковых рамах изображения полураздетых женщин, написанные кричаще яркими красками. Диван, обтянутый светло-коричневым кордом, два низких кресла возле стеклянного столика. Под окном стояла барная тележка с алкоголем всех сортов, и хотя я бы с удовольствием успокоила нервы красным вином, я попросила только

стакан воды. Он налил себе виски, сел на диван и ухмыльнулся; казалось, его радует возможность развлечься, он даже разулся; я увидела белые носки с серыми подошвами. «Вы знакомы с моей дочерью Даниэлой, – сказала я, и он снова ухмыльнулся. – Я не могу одобрить вашу связь; разумеется, вам известно, что она еще ходит в школу и должна готовиться к выпускным экзаменам – и я сомневаюсь, что отношения, которые требуют много времени и занимают вечера, с этим совместимы». Он пристально смотрел на меня холодными светло-голубыми глазами. Его взгляд скользнул по моему телу и задержался на коралловой броши. Он так и не произнес ни слова, но к этому я была готова; я не собиралась взывать к его совести, потому что была уверена: ее нет, я хотела лишь разыграть мещанскую мамашу и испортить ему настроение. «У Даниэлы проблемы с латынью, – продолжила я, – она должна посещать дополнительные занятия, вам ведь прекрасно известно – хорошие оценки на экзаменах в наше время дороже золота. Проявите сознательность, не сбивайте дитя с пути; Даниэла сейчас находится на самом важном жизненном этапе, уверена, вы сами все понимаете». Он вытащил сигарету из блестящего металлического портсигара, закурил и, казалось, так и не собирался произнести ни слова. «У нас обоих, – почти искренне сказала я, – лучшие годы жизни уже практически позади, но ребенок должен думать о будущем». Он бросил на меня резкий взгляд и, похоже, попытался определить мой возраст; и я впервые искренне пожалела, что Даниэла совсем на меня не похожа – возможно, это бы испортило ему аппетит. За последние годы я сильно сдала; у меня поседели и потускнели волосы и начали проявляться последствия курения и пристрастия к алкоголю; возле рта появилось несколько глубоких морщин, а подбородок потерял контур. Я снова набрала вес и стала совсем похожа на мамашу с окраины, хотя никогда не хотела ею стать. Он продолжал молчать. «Я здесь не для того, чтобы угрожать, – сказала я. – Но вам должно быть известно, что интимная связь с несовершеннолетней является преступлением, и если вы не прекратите отношения с Даниэлой, я приму меры». Я не сомневалась, что он меня понял – он казался деятельным, расчетливым и отнюдь не глупым. Лицо его выглядело более помятым, чем тело, от которого исходила могучая сила и бесконечная самоуверенность. Несмотря на подчеркнута расслабленную позу, чувствовалось напряжение, словно

он мог в любой момент вскочить и сделать что-то совершенно неожиданное. Я слышала собственный голос словно издалека и надеялась, что собеседник не заметит дрожи, накатывающей на меня волнами. Я ждала, когда он наконец соизволит ответить. Наконец он еще сильнее откинулся на диван, прямо-таки выставляя напоказ свою наглость, закинул ногу на ногу и закурил. «Очень милая речь, – заявил он, – я прямо тронут этим спектаклем о матери и ребенке. Экзамены – это прекрасно, но взгляните на меня – можно отлично жить и без них. Пусть Даниэла спокойно учит латынь, я не против. Но если ее больше интересуют другие вещи, не могу же я препятствовать, верно? – До этого момента он казался почти равнодушным, но теперь подался вперед и посмотрел мне прямо в глаза. – А я уверяю вас: она получает огромное удовольствие». Ухмыльнувшись, он снова откинулся на диван. «Поэтому угрозы меня не волнуют. Скоро Даниэле исполнится восемнадцать, и вы уже ничего не сможете сказать. А будете вмешиваться – жизнь медом не покажется. Кстати, ваша дочурка очень быстро учится – возможно, даже лучше, чем в школе. Ей и в голову не придет на меня жаловаться. Наоборот, я очень многому ее научил, и это еще далеко не конец». Он встал. Меня затошнило, я последовала за ним по темному коридору к входной двери. Когда я хотела пройти мимо него, он крепко схватил меня за локоть и прошептал: «Вы должны радоваться. Ваша дочь испытывает со мной такое, о чем женщины вроде вас могут только мечтать».

В этот раз Рената еще могла утешить меня, насколько это было вообще возможно. Она уже буквально сидела на чемоданах, когда я позвонила в дверь; на следующий день приезжал грузовик для переезда, и начиналась ее новая жизнь в М. Я даже не сняла пальто, просто сжалась за дверью в комок и заплакала, как никогда в жизни. Она пыталась со мной поговорить, но я так рыдала, что едва могла дышать, из горла рвался незнакомый мне высокий звук и никак не хотел смолкать. Не знаю, насколько много времени я провела там, полулежа на полу, пока она держала меня в объятьях и никак не могла успокоить. Она постоянно спрашивала, что произошло, но из меня едва удавалось вытянуть хоть слово, бесконечно долго я выговаривала одно-единственное предложение, но в нем была вся суть: она потеряна. Рената протянула мне коньяк, усадила в кресло. «Ты не представляешь, Рената, – шептала я вновь и вновь, – просто

невозможно представить, что это за чудовище. Он ее не любит, она ему не нужна, он даже не желает ее, в этом я уверена». «Но что тогда ему от нее нужно?» – спросила Рената, она никак не могла понять. «Он дрессирует ее, – ответила я, – делает из нее животное и обращается с ней, как с животным, он полностью подчинил ее себе, и это все, что ему нужно. Все гораздо хуже, чем ты можешь представить, его совсем не волнует секс, я это почувствовала, его вообще ничего не волнует, он хочет только иметь над ней власть, и, думаю, ему это удалось. Он ни капли не испугался, он жутко наглый, потому что может полностью положиться на Даниэлу. Ему удалось, я вижу: она принадлежит ему, она потеряна».

Конечно, я все равно попыталась поговорить с Даниэлой. Меня воодушевила Рената, хотя совет был дан по незнанию; она никогда его не видела и с ним не говорила. Я подкараулила Даниэлу, когда та пришла из школы; отпросилась с работы и отправилась с ней на прогулку, чтобы Ирми не заподозрила, что от нее что-то скрывают. Она молча сидела рядом со мной, жмурясь от встречного ветра, и пожала плечами, когда я спросила, куда она хочет поехать. «Мне все равно, где ты будешь читать нотации, мама, – заявила она иронично-колючим тоном, которым в последнее время разговаривала почти все время. – Чем короче будет дорога, тем скорее все закончится». Но я поехала в большое лесничество, откуда можно было совершить прекрасную прогулку; даже предложила купить мороженого и сама же показалась себе смешной: ведь мы приехали сюда, потому что Даниэлу уже не радовало никакое мороженое в мире, хотя с виду она была худенькой и напоминала ребенка, когда сидела рядом со мной. Я припарковалась на краю леса, в начале пути; мы пошли гулять вдоль озера, и я испробовала все. Не упрекала ее, не читала нравоучений и в конце даже живо описала свой визит, холод, исходивший от этого мужчины, полное отсутствие интереса к ней, цинизм в его речах. Ей стало скучно. Я не достучалась. Мои слова не впечатлили ее. Она ничего не рассказала ни о себе, ни о нем, безучастно слушала мои слова и лупила сухой веткой по деревьям, словно мальчишка. На ней были джинсы и темно-синяя кофта, и выглядела она лет на пятнадцать, только в глазах уже не было ничего детского. «Думаю, мама, – сказала она, когда мы вернулись в машину, – ты просто ревнуешь». В глаза она мне ни разу не посмотрела.

Сегодня она ходила в президиум. Рано утром нам позвонили и сказали, что разговор откладывается примерно на час, иначе я о нем даже бы не узнала. Я рано вернулась с работы домой, потому что надеялась, что она мне что-нибудь расскажет, но она сидела за ужином молча, по-прежнему с заплаканными глазами, и медленно размешивала в чашке сахар. Эрнст был на репетиции клуба, а Ирми рано ушла к себе, поэтому я убрала посуду и растерянно сидела на кухне, пока она шумела наверху в ванной. Она всегда любила воду; когда она была маленькой, мы иногда принимали ванну вместе, и она брызгалась от восторга, когда к ней подплывал резиновый утенок или лягушка.

После прогулки на озере я попыталась поговорить с Эрнстом. Про бар я упоминать не стала; вместо этого сказала, что видела их вместе в кафе-мороженом. Я сообщила ему, что Даниэла уже давно проводит ночи не дома и прокрадывается наверх лишь незадолго до завтрака. Рассказала, что выследила, где живет этот Вильродт. Только о своих ощущениях умолчала, ведь доказательств никаких не было. Эрнст мне не поверил. Если семнадцатилетняя девушка идет есть мороженое с мужчиной посреди бела дня, это еще не повод для шпионажа, сказал он. А мои суждения о мужчинах весьма красноречиво намекают на мой образ жизни. Он и сам прекрасно знает, когда его дочь возвращается домой. Кроме того, буквально недавно у них с Даниэлой состоялся долгий разговор, она рассказала ему о своих планах насчет учебы, поинтересовалась своей сберегательной книжкой и вообще рассуждала очень здраво. Совершенно не похоже, что этому ребенку нужна помощь, а если и нужна, то уж точно не от матери.

Я снова стала рассеянной. В последнее время мне более-менее удавалось себя контролировать, но после встречи с Вильродтом нервы снова сдали. Иногда мне казалось, что внутри виска трется наждачка, и болел лоб. Становилось все сложнее вставать по утрам, даже если вечером я не пила вообще. И постоянно приходилось что-то искать; чаще всего ключи, а еще очки, которые я носила уже несколько лет, и кошелек. Собственная сумочка стала моим врагом, я постоянно рылась в этой дыре из черной кожи, пытаюсь отыскать необходимое. Меня тяготило собственное нетерпение, я едва выдерживала очереди в магазинах. С недоверием заглядывала в лица других мужчин и

задавалась вопросом, способны ли они на такие же злодеяния, как Вильродт. Я стала часто оговариваться, причем жутковатым образом – говорила «душить» вместо «тушить», «трупы» вместо «крупы», «погост» вместо «компост». Даниэла наблюдала за мной со снисхождением и презрением одновременно; конечно, она замечала, что я о ней беспокоюсь, но, очевидно, считала это скорее комичным. Она нисколько не изменила образа жизни; по-прежнему возвращалась домой к утру, по-прежнему ходила в школу и делала домашнее задание; Ирми по-прежнему ничего не знала, а Эрнст не замечал. Даниэла была достаточно хитра и проявляла с ним особую предусмотрительность, находя каждый вечер новое невинное объяснение собственного отсутствия: подготовка к уроку, поход в кино, встреча с подругами в кафе-мороженом, день рождения одноклассницы. Она надевала перед уходом джинсы и возвращалась, наверное, тоже в джинсах; что было на ней в другое время – если вообще было, – оставалось только догадываться. Вильродт никогда не звонил нам и вообще никак не проявлялся; если бы я не увидела их тогда в баре, то так ничего бы и не узнала.

А потом, однажды утром, я заметила у нее на шее пятна. Даниэла поймала мой взгляд, когда сидела за столом на кухне; воротник ее свитера сполз, она увидела ужас на моем лице, когда потянулась за кофе, и быстро поправила воротник. Сначала я подумала, что это засосы – во времена моей молодости они назывались так, – но следы были слишком маленькими; их было несколько, на почти одинаковом расстоянии друг от друга. Наши взгляды встретились, и я впервые увидела нечто новое. Растерянность вместо ухмылки. Казалось, моя изумленная реакция даже слегка напугала Даниэлу, она будто смутилась. Я попыталась задержать дочь на выходе; она уже надела анорак и взяла сумку. Возможно, я преследовала ее слишком навязчиво, из-за паники и от облегчения, что она не совсем меня отвергла; в любом случае она ускользнула – пробормотала, что все в порядке, и буквально вывалилась на улицу. Дверь захлопнулась, и я принялась собирать вещи – как обычно, мучительный процесс вынудил меня обыскать почти всю комнату. Я села в машину. В голове лихорадочно роились мысли, мне было очень плохо. Я прикинула, что смог бы сделать Эрнст, если бы наконец мне поверил. Л. – город маленький; слишком маленький, чтобы тип вроде Вильродта мог

продолжать свои бесчинства, если о нем узнают. Эрнст состоял почти во всех городских сообществах; он играл в кегли с людьми из ведомства правопорядка, а наш вокальный кружок посещали сотрудники полиции, даже прокурор. К тому же Вильродт лишь арендовал помещения для своих дискотек и полуборделей; кто-то должен был владеть зданиями, выдавать разрешения, оберегать их от полицейских облав. Его дела точно можно было немного подпортить или хотя бы усложнить, чтобы поубавить охоту к играм. Типы вроде Вильродта не должны посягать на девочек, которые еще учат латинские слова. Нечего лезть к девушкам из хороших семей – это слишком опасно даже для таких, как он. Вероятно, ему доставлял особое удовольствие факт, что он получил в свое распоряжение девушку, которая попала к нему в руки совершенно неиспорченной, занималась балетом умела играть на пианино и вышла не из грязи, в отличие от него и всех его знакомых. Но легче от этих мыслей не становилось; и я ничего не смогла бы добиться от Эрнста.

На дороге выбежала молодая девушка. Я затормозила так резко, что тормоза завизжали, как в криминальном фильме, и вцепилась в руль, словно от него зависела моя жизнь. Девушка застыла на месте и посмотрела прямо на меня, увидела ужас в моих глазах и, думаю, только тогда осознала произошедшее. Она переходила улицу, направляясь к приемному пункту, и я увидела бы ее заранее, если бы не ехала слишком быстро. Я вообще не заметила светофора, и девушка этого даже не поняла. Я могла задавить ее насмерть; она выглядела ровесницей Даниэлы.

Тогда меня впервые посетила та мысль и больше не оставляла. Я вела машину по обочине, дрожа всем телом. Девушка пошла дальше; похоже, она совсем не рассердилась, возможно, даже вообще не почувствовала испуга, только заметила мой страх. Я посмотрела в зеркало на свое серое лицо – оно выглядело обессиленным, лет на десять старше моего реального возраста. Достаточно было лишь пустяка: превысить скорость километров на десять, задуматься на полминуты или закурить сигарету. Требовалось лишь одно, неизмеримо короткое мгновение и какая-нибудь мелкая, смехотворная и незначительная причина. Простая случайность.

И это действительно оказалось случайностью. Почти два месяца спустя мне на работу позвонила Рената и предложила увидеться после

обеда. Мы договорились встретиться в кондитерской Хирмера, потому что оттуда можно было пойти погулять, хотя мы обе прекрасно знали, что гулять больше не пойдем. Перед этим я пробежалась по магазинам, а когда добралась до кафе, она уже сидела на нашем любимом месте, на диване в углу. Ей не терпелось рассказать мне о своем риелторе; они искали новую квартиру, ездили в отпуск в Америку, он носил ее на руках, был настоящим джентльменом, по-прежнему серьезным, но уже не грустным. Она стала лучше выглядеть и менее вызывающе одеваться; ей очень шло. Она показала мне фотографии из М. и Нью-Йорка и рассказала о своих начинаниях в маклерском деле; это мог бы быть чудесный вечер. Она прекрасно видела мою подавленность, но ни о чем не спрашивала; возможно, не хотела снова слушать старые истории, но, думаю, скорее просто боялась еще сильнее испортить мое настроение. После прощального шерри я чуть не разревелась, но ей понадобилось выйти в туалет, и ничего не произошло. Иначе мы бы точно просидели дольше.

На пустынной улице слегка моросил дождь – частое явление в наших краях. Сумерки сгущались, становилось все темнее, и было уже не слишком хорошо видно. Возможно, именно поэтому я заметила его уже очень поздно – а может, просто потому, что задумалась.

Он стоял у дороги. Прямо под светофором, в тесном дождевике, спрятав руки в карманы и втянув голову; сзади его подсвечивал фонарь, я видела массивный нос и темные волосы, прилипшие к лицу. Он стоял совершенно один, вокруг не было видно ни прохожих, ни велосипедистов; место не подходило для прогулок, слишком близко к индустриальному району, без магазинов и деревьев для выгула собак.

Я могла принять другое решение. Нужно было лишь остановиться, замереть, ничего не делать, и момент бы миновал. Но я ждала этого момента с тех пор, как о нем узнала; этот момент был дарован мне, словно счастье; то, чего нельзя добиться силой или устроить, самая настоящая случайность; то, что называют судьбой, если оно кажется справедливым, а мне все казалось совершенно справедливым. В ту долю секунды, когда я заметила его и уже притормозила, у меня в голове пронесся вихрь – все мои мысли все последние недели и месяцы; говорят, в мгновение смерти вся прошедшая жизнь пролетает перед нами, словно ускоренный фильм;

со мной произошло то же самое, только умерла не я, а он. Потому что я нажала на газ, как только он сделал шаг, – нужно было очень быстро разогнать машину до очень высокой скорости; я всегда ездила быстро ради собственного удовольствия, а теперь еще и ради пользы. Когда я подъехала к нему, он даже не повернулся, может – задумался. Я ударила его в бок. И не стала сдавать назад. Вот и все.

notes

Примечания

Айнтопф – традиционное немецкое блюдо, густой суп с мясом, сосисками, овощами, бобами, крупами, копченостями, лапшой и т. д.
(Прим. перев.)

Цитата из песни Роберта Штайдля (*прим. перев.*).